

ББК 81
Д48

Серия
«Теория и история языкознания»

Редакционная коллегия:

С.А.Ромашко – канд. филол. наук (ответственный редактор)
В.З.Демьянков – д-р филол. наук
Л.Г.Лузина – канд. филол. наук
Ф.М.Березин – д-р филол. наук

Дискурс, речь, речевая деятельность: функциональные и структурные аспекты:
Сб. обзоров / РАН. ИНИОН. Центр
Д48 гуманитар. науч.-информ. исслед. Отд. языкознания; Редкол.: Ромашко С.А., отв. ред. и др. – М., 2000. – 232 с. (Сер.: Теория и история языкознания).
ISBN 5-248-01339-9

В сборнике освещаются новейшие тенденции в развитии языкознания, связанные со становлением когнитивно-дискурсивной парадигмы лингвистического знания. Эта парадигма обращает внимание прежде всего на динамику языка, его познавательный, творческий потенциал. На материале разных языков и с учетом лингвистических концепций, разрабатываемых в России, в странах Европы и в США, в обзорах рассматриваются базовые понятия дискурсивного анализа; взаимодействие видов информации в дискурсе и связанные с этим когнитивные модели, функциональные характеристики языка в речевой деятельности; структурные особенности различных видов текста – в том числе диалогического – в культурном контексте.

ISBN 5-248-01339-9

© ИНИОН РАН. 2000

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	4
О понятиях дискурса и дискурсивного анализа в современной лингвистике (Обзор) (Е.С.Кубрякова)	7
Функционализм в зарубежной лингвистике конца XX в. (В.З.Демьянков)	26
Виды информации в дискурсе (Л.Г.Лузина)	137
Язык – текст – культура (Е.О.Опарина)	152
Вопросы изучения диалога в работах современных французских лингвистов (И.С.Иванова).....	171
Модели сюжетных структур и нарративного интеллекта (В.Б.Смиренский)	181
Национальный образ русской речи (На материале романа И.А.Гончарова “Обломов”) (М.Б.Раренко)	212

ПРЕДИСЛОВИЕ

В своем развитии языкознание XX в. описало достаточно парадоксальную траекторию, начав практически с выведения речевой деятельности за скобки собственно лингвистического исследования, а закончив необычайно широким спектром работ, в которых рассматриваются самые различные проблемы дискурсивной активности, речи и речевых действий, структуры текста. Сосредоточившись на какое-то время на системном ядре языка, лингвисты вскоре обнаружили, что даже и это ядро невозможно адекватно описать, не обращаясь к тому, как язык функционирует в ходе его употребления носителями языка (так, свойства целого ряда грамматических единиц и категорий невозможно удовлетворительно охарактеризовать, не обращаясь к структурам текста, к указанию на позицию носителя языка и т.п.).

Когда же лингвисты переместили свое внимание на проблемы функциональной динамики языка, его творческого познавательного потенциала, на культурный контекст существования языка, то стало очевидно, что дискурсивные и текстуально-речевые аспекты языковой реальности неотделимы от понимания сущности того, что именуется человеческим языком.

Справедливости ради следует отметить, что эта проблематика в рамках филологического знания насчитывает очень давнюю традицию. На протяжении многих веков дискурсивно-текстуальные явления рассматривались в двух дополняющих друг друга и отчасти конкурирующих дисциплинах – риторике и поэтике. В относительно недавнем прошлом к ним добавилась стилистика. И уже в XX в. эти аспекты проявлялись то при изучении поэтического языка, то в ходе исследования спонтанной устной речи, то при решении проблем машинного перевода и автоматической обработки текста.

Интересно, что внимание к дискурсу, речевой деятельности, тексту не ограничивается собственно лингвистикой. Очень рано обратилась к ней психологи, затем наступила очередь философии – нельзя не отметить роли, которую сыграли Л.Витгенштейн и его последователи в развитии исследований по языковым функциям, речевым актам, дискурсивным характеристикам человеческой активности. Свой вклад в развитие исследований внесли социология и социолингвистика. Новые моменты проявились в связи с развитием компьютерной науки, компьютерного моделирования. Становление когнитивной лингвистики стало закономерным результатом синтеза как внутрilingвистических, так и междисциплинарных тенденций в изучении функционирования языка.

Работы по всем этим вопросам занимают все большую часть лингвистической литературы. В то же время и междисциплинарный характер исследований дискурса нашел достаточно ясное выражение в тенденциях развития научной коммуникации, прежде всего в журналах. Вполне в согласии с европейской традицией дискурсивный подход первоначально ясно обозначился в журналах, связанных с поэтикой, таких, как “Poetik” и “Poetics”, но рядом с ними появились издания более общего междисциплинарного характера: “Text”, “Language and communication”, “Discourse processes”.

Разумеется, один сборник не в состоянии охватить всех аспектов дискурсивно-речевых и текстуальных исследований, ведущихся в настоящее время учеными разных стран. В предлагаемых публикациях рассмотрены лишь некоторые наиболее динамичные и существенно важные аспекты научного поиска. Это прежде всего анализ базовых понятий дискурсивности, текста и речевой деятельности, а также функциональности применительно к лингвистическим исследованиям (обзоры Е.С.Кубряковой и В.З.Демьянкова). Проблемы информационной характеристики дискурса и его культурного контекста рассмотрены Л.Г.Лузиной и Е.О.Опариной. Отдельные виды текстов и речевой деятельности разбираются в публикациях, посвященных диалогу (И.С.Иванова) и повествовательному тексту (В.Б.Смиренский). Национальным образам речи (на материале прозы Гончарова) посвящен обзор М.В.Паренко.

Настоящий сборник продолжает серию публикаций Отдела языкознания ИНИОН РАН, посвященных теории текста, речевой деятельности, дискурсу¹. Следует надеяться, что эта традиция будет с успехом продолжена как отвечающая потребностям развития науки.

¹ См., в частности: Звучащий текст. – М., 1983. – 250 с.; Проблемы типологии текста. – М., 1984. – 178 с.; Семиотика. Коммуникация. Стилль. – М., 1983. – 204 с.; Языковая деятельность в аспекте лингвистической прагматики. – М., 1984. – 222 с.; Роль языка в средствах массовой коммуникации. – М., 1986, – 254 с.; Проблемы эффективности речевой коммуникации. – М., 1989. – 220 с.; Прагматика и семантика. – М., 1991. – 178 с.

О ПОНЯТИЯХ ДИСКУРСА И ДИСКУРСИВНОГО АНАЛИЗА В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ² (Обзор)

Интенсивное исследование языка во второй половине XX в. выдвигание в лингвистике новых парадигм научного знания оказались естественно связанными с появлением целого ряда новых областей анализа и, соответственно, новых понятий и терминов. Одни из таких “новых реальностей языка” не получили широкого распространения, продолжая существовать в рамках какого-либо одного направления и школы, другие же, напротив, будучи первоначально предложены каким-то одним научным сообществом, быстро выходят за его пределы и становятся достоянием разных коллективов, не обнаруживающих черт близости. Именно в этом последнем случае выдвинутое новое понятие обретает постоянно какие-то дополнительные характеристики и, уточняясь, фактически меняет нередко свой первоначальный смысл. В конечном счете за ним закрепляются несколько различных интерпретаций, ибо в разных парадигмах знания его используют в разных значениях, а сам термин лишается определенности и становится многозначным. Все это характеризовало и историю распространения понятий “дискурс” и “дискурсивный анализ”, благодаря чему в их истолковании уже можно наметить несколько различных направлений. Посвятив определению понятий несколько специальных работ (см., например, 12), мы возвращаемся к этому вопросу еще раз, поскольку, с одной стороны, он продолжает обсуждаться и, таким образом, не может считаться решенным или же закрытым³ и поскольку, с другой стороны, исключительная важность вопроса о том, что такое дискурс, ложится в основание новой парадигмы лингвистического знания, именуемой нами когнитивно-дискурсивной (13, с. 6, 12-13 и др.; 11, с. 140 и сл.) и представляющей собой особую интеграцию двух ведущих парадигм современности – когнитивной и коммуника-тивной, их рациональный синтез.

Формирование названной парадигмы знания уже начато, и есть основания предполагать, что именно разностороннее освещение любых языковых явлений по выполняемым ими когнитивным и коммуникативным функциям принесет в будущем свои плодотворные результаты. Вместе с тем само развитие этой парадигмы знания зависит от того, какой смысл вкладывается разрабатывающими ее учеными в ключевые для нее понятия когниции и коммуникации, процессов познания и общения, понятия речемыслительной деятельности и, прежде всего, дискурса. Хочется, однако, с самого начала обсуждения этого вопроса подчеркнуть, что каких-либо единых установок в понимании дискурса еще не сложилось; точно так же не существует общепринятого определения термина “дискурс” или же термина “дискурсивный анализ”, и в этом смысле наш обзор **субъективен**: из огромного потока

² Как следует из заглавия обзора, в нем не рассматриваются история изучения термина “дискурс” за пределами лингвистики, а также его распространение в других науках – социологии, антропологии, психологии, при моделировании искусственного интеллекта и т.д. Хотя автор обзора отдает себе отчет в том, что и социальные науки испытывают на себе мощное влияние дискурсивного поворота в языкознании (см. об этом подробнее в 15, с. 9 и сл., с. 15 и сл.), целью обзора является освещение тех научных направлений в современной лингвистике, которые связаны с изучением разных аспектов дискурса и которые предлагают разные определения самого этого понятия. В задачи обзора входит, таким образом, известная систематизация опыта, накопленного в лингвистике за два-три последних десятилетия при исследовании дискурса, и – прежде всего – при попытках дать это понятию и термину надлежащее определение.

³ См., например, у О.Г.Ревзиной: “Назрела задача осуществить научную рефлексю над понятиями языка и дискурса с тем, чтобы определить, является ли дискурс – и какой именно дискурс – объектом лингвистического изучения” (17, с. 25-34).

существующей литературы мы рассматриваем в нем лишь то, что поможет выделить в имеющихся источниках несколько главных направлений в истолковании понятия, или то, что представляется нам наиболее рациональным и интересным в его рассмотрении.

Вместе с организаторами одной из первых научных конференций, посвященных проблемам дискурса (США, 1977 г.), и авторами сборника материалов этой конференции, опубликованного 20 лет тому назад (32), мы могли бы и сегодня повторить, что, несмотря на огромную работу, проделанную лингвистами в области дискурсивного анализа, мы по-прежнему очень далеки от создания единой и целостной теории дискурса. Более того: даже на современной ступени развития лингвистической мысли вряд ли можно говорить о существовании общепринятого определения дискурса и вряд ли можно рассматривать какое-либо из предлагаемых определений в качестве предпочитаемого. В условиях существования разных подходов к определению дискурса (о чем очень подробно см., например, в 15; ср. также 24) и выделения разных аспектов его исследования было бы нецелесообразно предпочитать априорно какой-то один из них. Как отмечает У.Чейф, “продолжает оставаться необходимость модели естественного дискурса, которая объединила бы разнообразные когнитивные и социальные факторы, ответственные за организацию языка. Дискурс многосторонен, и достаточно очевидна ограниченность любых попыток отразить его моделирование, сведя дискурс к одному или двум измерениям...” (20, с. 49). По этой причине мы и стремимся показать нашим обзором, с одной стороны, какие теоретические соображения способствовали выдвиганию самого понятия дискурса, а с другой какие направления сложились к настоящему времени в его исследовании. Быть может, только после такого анализа станет возможным выявить и те несколько **главных значений**, которые связаны с термином “дискурс” в лингвистике конца XX в.

* *
*

Самое простое и очевидное значение термина “дискурс” – разговорная практика, речь, а потому “использование языка”. На первых порах его употребления в англоязычной литературе он явно выступает в значении “речевая деятельность” или же – еще шире – “коммуникативная деятельность”. Особенно заметно такое употребление в противопоставлении изолированного предложения предложению внутри связного текста. Не вызывает поэтому сомнения тот факт, что введение понятия дискурса было реакцией на теорию автономного синтаксиса в генеративной грамматике, а потому было связано прежде всего с отказом изучать семантику синтаксиса на материале изолированных предложений. Если в работах более частного порядка это вело к рассмотрению роли факторов коммуникативного порядка в использовании конкретных синтаксических конструкций, то в теоретическом плане это означало пересмотр оснований грамматики естественного языка как системы, обеспечивающей не только обработку информации или же ее хранение, но и само осуществление коммуникации, т.е. “языка в действии”.

Первая и, возможно, **главная** особенность всего дискурсивного направления – убежденность в том, что ни синтаксис, ни грамматика языка не могут изучаться вне обращения к его **использованию**. “Структура языка не может быть успешно изучена, описана, понята или же объяснена без отсылки к его коммуникативной функции” (32; с. XV)⁴. Подобная убежденность складывалась по мере проведения самых различных исследований, и ее истоки могут быть обнаружены и в анализе прагматических факторов, действующих при выборе тех или иных синтаксических конструкций, и в работах по лингвистике текста, особенно при рассмотрении различных текстовых категорий, и в исследованиях по онтогенезу речи и овладению синтаксисом и т.п. Нельзя поэтому не отметить, что по мере проведения разнообразных конкретных работ в указанных областях принцип зависимости всей организации языка от его главной коммуникативной функции, а следовательно, от его употребления (performance) и осуществления особого вида деятельности – разговора, общения, дискурса, приобретал все большее количество сторонников и получал все большее количество доказательств и подтверждений.

Комментируя указанное допущение дискурсивного направления, можно указать, во-первых, на то, против чего оно было направлено и какая теоретическая позиция в понимании языка и лингвистики при этом отстаивалась. Но следует указать, во-вторых, и на то, какие

⁴ Нелишне отметить, что и 20 лет спустя этот тезис защищается и подтверждается практикой описания конкретного материала разных языков (см., например, 6, с. 528).

следствия вытекали из этой позиции и к чему указанная позиция приводила в исследовательской практике. Следует, наконец, в-третьих, разъяснить и то, как понималась сама формула изучения языка в действии. Рассмотрим все эти моменты по отдельности.

Дискурсивное направление исследований рождается в противопоставлении функционализма формализму, когда, по справедливому мнению М.Л.Макарова, сталкивается различие взглядов на природу самого языка и различие методологических принципов его исследования (15, с. 68), причем различие это настолько существенно, что соответствующие ему взгляды не только несовместимы друг с другом, но как бы образуют крайние точки на шкале различных интерпретаций языка. Но рождаясь в рамках этого противопоставления и оказываясь “ближе” к функциональным направлениям современной лингвистики, само дискурсивное направление оказывается в конечном счете известным разумным компромиссом между крайностями названных школ, ибо дискурсивный анализ должен, по идее, “интегрировать анализ формы и функций своего объекта” (15, с. 69). С этой точки зрения равно неприемлемы как чисто формальные определения дискурса, так и определения исключительно функциональные (как всякого употребления языка).

Поскольку о многих функциональных определениях мы будем говорить ниже, остановимся здесь только на формальном определении дискурса, когда дискурс определяется просто как “язык выше уровня предложения или словосочетания” (31) или же когда в фокусе внимания ученых оказываются исключительно типы формальных отношений и конфигураций языковых элементов, наблюдаемых в относительно развернутых фрагментах текста или же живой (разворачиваемой во времени и “на глазах” у наблюдателя) речи⁵. По всей видимости, формальные подходы к дискурсу выявляются и там, где исследователи предельно абстрагируются от социально-культурологических и контекстно-обусловленных особенностей использования той или иной синтаксической единицы.

Как справедливо указывают А.А.Кибрик и В.А.Плунгян, “дискурсивные явления... находятся за пределами интересов (а также возможностей) генеративной лингвистики”. Вместе с тем они отмечают, что попытки интегрировать отдельные дискурсивные понятия в модель грамматики все же существуют, несмотря на то, что “трудно представить, чтобы генеративная грамматика моделировала языковые единицы больше, чем предложение” (10, с. 307). В связи со сказанным можно было бы упомянуть о теории репрезентаций дискурса, где основное внимание уделяется семантике предложений (и, в частности, представленным в них неопределенным выражениям), анализируемой по отношению к структурам дискурса. Дискурсом здесь называется некая связная последовательность предложений, образующих текст (см. об этом подробнее в работе 7).

Большую роль в становлении понятия дискурса сыграло и критическое отношение к жесткому противопоставлению знания языка (competence) его использованию (performance) в трудах Н.Хомского и его последователей, и работы прагматического толка продемонстрировали условность границ между знанием и владением, между знаниями двух типов (ср. “знать что” и “знать как”) — декларативным и процедурным. Ведь в конечном счете для человека важнее всего competence to perform, т.е. знание языка в целях его адекватного использования.

Как отмечает Дебора Шиффрин, наряду с формальными и функциональными подходами к дискурсу возможен и третий подход, при котором изучается взаимодействие формы и функции, притом анализ отнесен к цепочке связанных между собой высказываний (28). Поскольку, однако, с помощью такой цепочки нередко определяют и текст, возникает вопрос о соотношении понятий дискурса с текстом, а также о тех предельных для выбранного уровня рассмотрения единицах, из которых “складывается” текст в отличие от дискурса, или же тех, на которые они, соответственно, разлагаются. Обычно считается, что текст складывается из последовательно расположенных предложений, тогда как дискурс членится скорее на высказывания. Но если исходные понятия предложения и высказывания не разведены, а в определения текста и дискурса не входят дифференцирующие их признаки, оба концепта используются нередко как тождественные, а их обозначения – как синонимы. Такое положение дел часто характеризовало работы, относящиеся к концу 70-х и 80-х годов, когда термины “лингвистика текста” и “дискурсивный анализ” выступали в значительной степени как взаимозаменяемые (см., например, 19). Подобную ситуацию нередко можно встретить и сегодня, особенно, когда определяются характеристики связной речи как таковой или же

⁵ Подробнее о противопоставлении функционализма формализму см., например, в работах 27, с. 293-300; 10, с. 276-339, с. 329 и сл.

участие различных языковых форм – единиц и категорий – в организации текста или дискурса как неких завершенных речевых произведений. В подавляющем большинстве современных публикаций, приходящихся на 90-е годы, проводятся, однако, идеи необходимости более строгой дифференциации рассматриваемых понятий, для чего, собственно, и прибегают к оппозициям процесса и его результата, динамики и статики и др.

Прежде чем рассмотреть подробнее эти оппозиции, отметим еще одно следствие постулата о том, что дискурс связан с использованием языка в процессе речевого (языкового) общения людей. На деле он приводил к зависимости определения дискурса и от того, с какой целью и в каком ракурсе рассматривалось само общение. В традиции изучения указанного явления можно выделить целый ряд известных школ – Бирмингескую школу, школы конверсационного анализа и речевых актов и т.п. (см. о них подробнее: 15, с. 76 и сл.; см. также 4, с. 113). В каждой из этих школ соотношение понятий общения (коммуникации) и дискурса уточняется, благодаря чему и представление об анализе дискурса претерпевает разные изменения. В качестве примера подобной “подгонки” двух рассматриваемых соотносительных понятий — коммуникации и дискурса – можно привести работы Т. ван Дейка и его соавторов, появление которых (по словам самого ван Дейка) знаменует конец “формалистического” подхода к пониманию дискурса и переход к **междисциплинарному** исследованию дискурса (8, с. 1).

Отражая веяние времени и богатство идей 80-х годов, выдвинутых в связи с рассмотрением закономерностей функционирования языка в обществе, концепция ван Дейка начинает строиться не только с учетом грамматики текста и прагматики дискурса, но и с более полным вовлечением в анализ таких социальных факторов, как мнения и установки говорящих, их этнический статус и т.п. Центр тяжести анализа переносится на сами эти личностные характеристики носителей языка – их намерения, чувства, эмоции и т.д. Дискурс начинает пониматься как сложное коммуникативное явление, не только включающее акт создания определенного текста, но и отражающее зависимость создаваемого речевого произведения от значительного количества экстра-лингвистических обстоятельств – знаний о мире, мнений, установок и конкретных целей говорящего как создателя текста. Все эти обстоятельства всплывают и при восприятии дискурса, в связи с чем в модель понимания (или обработки) дискурса естественно вписывается модель его когнитивной обработки. В дискурсе отражается сложная иерархия различных знаний, необходимая как при его порождении, так и при его восприятии. И в тех, и в других процессах наблюдаются особые стратегии отбора наиболее значимой информации, значимой в данном контексте и для данных коммуникантов. Очень важно, что в работах ван Дейка выдвигается идея “прагматического понимания” дискурса, т.е. правильно утверждается, что мы сплошь и рядом не можем, ограничиваясь только пониманием общего смысла предложения или высказывания, определить его коммуникативную направленность. Высказывание типа “I’ll come tomorrow! Я приду завтра!” “вполне может оказаться и обещанием, и угрозой, и объявлением/утверждением” (4, с. 15).

Концепция ван Дейка исключительно важна именно потому, что в ней дается многоплановое и разностороннее определение дискурса как особого коммуникативного события, как “сложного единства языковой формы, знания и действия” (4, с. 121-122), как события **интеракционного** (между говорящим и слушающим) и – что очень существенно – события, интерпретация которого выходит далеко за рамки буквального понимания самого высказывания или их цепочки (текста). Будучи по форме **связной последовательностью** предложений, дискурс определяется здесь, однако, не только как нечто противопоставленное **изолированному** предложению, но и как своеобразное семантическое единство, проявляющее прежде всего семантическую связность (когезию), связность информационную. Для ее понимания (например, в повествовании, в разговоре, в беседе и т.д.) необходимы знания о мире, знания о ситуации, социальные знания и определенные культурологические и прочие типы знаний. Рассмотренная концепция оказала, несомненно, значительное влияние не только на появление новых когнитивных моделей обработки дискурса, но и на обогащение исходного понятия дискурса за счет включения в него широкой гаммы различных характеристик как формального, так и содержательного порядка. Можно сказать, что в учении ван Дейка о дискурсе и становлении дискурсивного анализа как нового междисциплинарного направления (см. особенно 4, с. 119 и сл.) содержались в более или менее развернутой форме зародыши всех тех разных направлений, которые характеризовали дальнейшее уточнение понятия или же включали его в категориальный аппарат разных лингвистических парадигм.

Так, дискурс явно включается в главные понятия **антропологической парадигмы**. Как указывают Р.Харре и Г.Жиллет, дискурсивные явления имеют место и время в особой среде, какой оказывается социально-психологическое, а не только физическое пространство – “пространство человека” (people-space, см. 25, с. 31). Поскольку человек играет в обществе себе подобных разные роли – социальные, культурные, профессиональные, межличностные и т.п. – наряду с коммуникативными, в дискурсивном анализе всегда отдается дань говорящей (языковой) личности, да и в исследование последней явно вовлекаются дискурс и дискурсивные (коммуникативные) особенности человека.

Нельзя не признать также, что обращение к говорящему человеку с его установками и намерениями сближает часть лингвистических работ, посвященных дискурсу, с работами в области теории речевых актов, где речь рассматривается как особый социальный поступок и особое специфическое действие. Другие параллели в этой же связи можно усмотреть в известной корреляции дискурсивного анализа и прагмалингвистики, в которой подобное освещение получили сами культурно-социологические факторы в коммуникации людей (ср. в этой связи также выделение такой специальной области, как прагматика общения, в развитии которой свой определяющий вклад внесли работы П.Грайса, С.Левинсона, Дж.Лича и др.).

Ясно также, что категории дискурса уделяется огромное внимание и в когнитивной, и в социальной психологии, благодаря чему она составляет неотъемлемую часть категориального аппарата этнометодологии, этнолингвистики или антропологии, социологии. М.Л.Макаров совершенно справедливо освещает в этой связи основания новой **дискурсивной психологии** (15, с. 51 и сл.) и указывает на значительную роль для ее становления таких ученых, как Л.С.Выготский. Он подчеркивает, что в пределах этой когнитивно ориентированной отрасли психологии дискурс понимается как социальная деятельность, происходящая с помощью или же посредством языка в условиях реального мира и реального взаимодействия людей. Важно, что осуществляемый в рамках этого направления когнитивно-социальной психологии анализ дискурса отличается по целому ряду признаков и от разговорного анализа, и от теории речевых актов, и – качественно – от лингвистики текста (15, с. 53-55). Так как в сфере этой дисциплины широкое хождение имеют понятия установки, памяти, восприятия, знания и мнения (т.е. когнитивные феномены внутреннего мира человека), понятие дискурса обогащается за счет рассмотрения его связей с каждым из перечисленных концептов или категорий.

“Дискурс, – пишет Ю.С.Степанов, – это новая черта в облике языка, каким он предстал перед нами к концу XX века” (18, с. 71). И, разъясняя смысл этой черты, тоже указывает на “особое использование языка”, но уже для выражения особой ментальности” и даже “особой идеологии” (18, с. 38). Именно это влечет за собой активизацию целого ряда специфических языковых форм как из области грамматики, так и из области лексики, создавая ярко маркированные этими формами тексты. Не случайно, что в таком употреблении термин “дискурс” оказывается близким тому, что в русской лингвистике соответствует термину “функциональный стиль” и что в трудах академика В.В.Винградова и Г.О.Винокура и обозначало не только особый тип текстов, но и соответствующую им систему лексических и грамматических средств (т.е., соответственно, указывало на выборочное использование части существующей языковой системы в определенных целях). И все же, как пишет Ю.С.Степанов, “дискурс не может быть сведен к стилю” (18, с. 41), хотя это действительно “язык в языке”, это одновременно и особая социальная данность.

Таким образом, глубокие мысли когнитологов о том, что язык позволяет доступ к работе нашего сознания и нашего интеллекта, своеобразно преломляются здесь, логически приводя к возможности увидеть за дискурсом (текстом, имеющим своего автора и создаваемым для выражения его позиции в определенных конкретных условиях его социального бытия) особый фрагмент **ментального мира и восстановить его специфические особенности**. Сигналами для подобного восстановления и служат определенные языковые формы или же, точнее, их система (ср., например, номинализации или же безличные формы высказываний и т.д.).

Говоря о дискурсе, мы, следовательно, имеем в виду некий фрагмент языка, появление которого связано с определенными логико-лингвистическими условиями и потому **ограничено** (18, с. 63); в этом своем качестве он и подлежит анализу. Понятно теперь, почему Н.Д.Арутюнова определяет дискурс как речь, погруженную в жизнь, используя, кстати говоря, развернутую дефиницию этого понятия и указывая, что дискурс – это “связный текст в совокупности с экстралингвистическими, прагматическими и другими факторами; текст, взятый в событийном аспекте, речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как

компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизма их сознания (когнитивных процессах). Дискурс – это речь, погруженная в жизнь. Поэтому термин “дискурс”, в отличие от термина “текст”, не применяется к древним и другим текстам, связи которых с живой речью не восстанавливаются непосредственно” (2, с. 136-137).

В приведенной дефиниции дискурс определяется и через текст, и через речевую деятельность, взятых, естественно, как некие родовые понятия с определенными ограничениями. Чтобы прояснить суть этих ограничений, нам представляется необходимым остановиться более подробно на вопросах о том, как же соотносятся в современной лингвистике понятия дискурса и текста, дискурса и речевой деятельности (речи) и, наконец, как может пониматься положение о “погруженности” дискурса в человеческую, жизнь т.е. о его связи с жизнедеятельностью и социальной практикой человека.

Поскольку о последнем мы уже говорили в предыдущих частях нашего обзора, заметим здесь, продолжая развивать мысли Ю.С.Степанова и других ученых, занимавшихся дискурсом, что связь дискурса с реальным бытием человека может усматриваться в нескольких отношениях. Таких аспектов мы можем назвать, по крайней мере, три.

Первое отношение – это, конечно, связь дискурса с коммуникацией, с реальным речевым общением и интеракциональным характером последнего. Здесь особенно заметны области пересечения многочисленных разных направлений внутри коммуникативной (функциональной) парадигмы лингвистического знания с дискурсивным анализом. Важно, что сообщения о “действительности” порождаются в развертывающемся во времени свободном потоке непрекращающейся коммуникативной активности и что это сообщение приобретает смысл только как часть этого потока (30). Таковы, например, установки, отражаемые в программных тезисах так называемого социального конструкционализма, в содержание которого входит вопрос о его отношении к проблемам языка и речевой коммуникации. Сюда же могут быть отнесены и разные подходы к анализу естественно звучащей речи в различных социально-когнитивных контекстах (ср. 15, с. 75 и сл.) и т.п. В указанном нами отношении важно подчеркнуть, что в понятии дискурса отражаются не только его прямая связь с реальными речевыми потоками (см. также об этом ниже), но и их **стиль**, их предназначенность на решение определенных **социальных** проблем и их участие в социальной интеракции людей, откуда акцент на **интенциональность** самого речевого потока и его моделирование под прямым воздействием этого фактора.

Поскольку о концепте интенциональности написано немало специальных работ, освещение которых явно выходит за пределы настоящего обзора, отмечу лишь, что мне кажется совершенно правильным простое указание А.В.Бондарко на то, что “... имеется в виду связь языковых значений с намерениями говорящего, с коммуникативными целями речемыслительной деятельности, т.е. способность содержания, выражаемого данной языковой единицей, в частности, грамматической формой (во взаимодействии с её окружением, т.е. средой), быть одним из актуальных элементов речевого смысла” (3, с. 58). Как подчеркивает А.В.Бондарко, при таком понимании интенциональности с ее изучением сопряжены два следующих вопроса: связано ли анализируемое значение со смыслом говорящего (т.е. его собственным субъективным намерением и замыслом) и характеризуется ли оно как таковое смысловой информативностью и какой именно в системе языка (ср. там же, с.60).

В связи с рассмотрением понятия интенциональности дискурса необходимо учесть еще одну специфическую его сторону: нередко отмечают, что конкретный тип дискурса создает своего **идеального адресата** (в отличие от просто “воспринимающего” данный дискурс). Не менее важно, однако, что дискурс (как особый тип речевого потока) предполагает некоего идеального отправителя речевого произведения (в том смысле, что он ярко отражает социальный статус подобного говорящего и не столько его собственные субъективные намерения, сколько некие усредненные и как бы становящиеся “общепризнанными”, “своего” класса). Именно в этом смысле следует, по всей видимости, понимать замечания П.Серио в его замечательной книге о советском политическом дискурсе (29), касающиеся “исчезновения авторства” (наряду с “исчезновением ответственности” за произносимое) в этом типе дискурса. Отсюда еще один шаг – и “возникает тема **бессубъективного** дискурса” (17, с. 27). В то же время такая ситуация складывается, конечно, не при обычном речевом общении, а в определенных **типах дискурса**.

Второй аспект исследования дискурса, соответственно, сопряжен с классификацией **типов дискурса** и выделением этих отдельных типов, формулу “речь, погруженная в жизнь” прочитывают обычно как указывающую именно на связь разных типов дискурса с реально

протекающей деятельностью людей. Отсюда выделение в качестве особых типов дискурса репортажей и интервью, политического дискурса и т.д. Как указывает Т. ван Дейк, в лингвистике текста и контентанализе уже давно занимались описанием конкретных свойств текстов массовой информации “с основной целью – выявить особенности соответствующих контекстов”, для чего и предпринималась, прежде всего, статистическая обработка указанных текстов (4, с. 111). Весь корпус текстов массовой коммуникации следует анализировать, однако, помимо этого, как случай “особого типа языкового употребления и особого типа текстов, относящихся к специфической социокультурной деятельности”. Лишь такое исследование позволяет учесть и социальный контекст происходящего, и роли говорящих участников коммуникации, и специфику процессов производства и восприятия сообщения, притом, что главным здесь остается “расширенное понимание контекстуальной перспективы дискурса” (там же, с.112-113). По всей видимости, для каждого типа дискурса следует строить собственную его модель, и лишь при этом условии появляется возможность представить “язык в языке” как особую и лингвистическую, и социальную данность (ср. 18, с. 44), а главное – воссоздать ментальность “возможного мира”.

Изучая типы дискурса в указанном отношении, исследователи, конечно, изучают **тексты**, но сами тексты начинают трактоваться как источники сведений, выходящих за пределы собственно языкового их содержания, – источники данных об особых ментальных мирах. Для восприятия текстов нужно “погружение” в этот особый ментальный мир, для чего адресаты речи либо должны извлечь из своей памяти нечто об особенностях такого “возможного мира”, либо отчасти строить его по мере ознакомления с поступающим к нему речевым потоком.

Сказанное требует разъяснения и уточнения сразу в нескольких отношениях. Во-первых, дискурсивный анализ — это анализ **ТЕКСТОВ**, т.е. языкового употребления, но только текстов, взятых в особых качествах и свойствах. Дискурс анализируется прежде всего по мере своего поступления к адресату, т.е. **ON LINE**. Для его понимания используется не вся информация в голове человека, а скорее, по Дж.Динсмору, определенным образом уже расклассифицированная информация, *partitioned representation*, непосредственно относящаяся к определенной области знания, “частичная” (21). Во-вторых, для активизации этой области знания в голове человека в поступающем тексте / речевом произведении должны содержаться некие языковые **сигналы**, да и сам текст должен быть структурирован по особым правилам (напомним, что у разных типов дискурса выявляются “своя” лексика и “своя” грамматика). В-третьих, активизируемые знания многоплановы и гетерогенны, представляя собой и знания из сферы языка, и специальной (узкой) профессиональной области, и, наконец, социальной практики. Соответственно, обработка приходящей к человеку информации протекает по нескольким разным каналам. Пользуясь семиотической терминологией, можно было бы сказать, что **интерпретанты знака** выстраиваются в иерархически организованное сложное целое, включающее несколько облигаторных (обязательных) составляющих. В самом общем виде следовало бы констатировать, что в процессе создания дискурса особого типа (как и в процессе его восприятия) человек функционирует в одном из возможных миров и погружен в особый ментальный мир. И если правильно, что язык – это “дом духа”, то для правильного создания и понимания дискурса определенного типа надо “попасть” в особую “квартиру” этого дома, т.е. выбрать в “доме” надлежащее “место”.

Третьим аспектом в проведении дискурсивных исследований оказывается попытка описания отдельно взятых дискурсов — политического, публицистического, философского, научного и т.п. Здесь, в этом пункте, также смыкаются разные области лингвистики текста и анализа дискурса. Ср., например, нарратологию или разговорный анализ (как специальный анализ разговорного жанра, в том числе беседы и т.п.). Вопрос о размежевании лингвистики текста и дискурсивного анализа поэтому вновь и вновь поднимается на страницах специальной литературы, но, на наш взгляд, какого-либо жесткого решения он не требует. Связи между указанными сферами научных интересов в значительной мере условны и в конечном счете зависят от того, принимается ли конкретной школой или конкретным ученым узкое или же более широкое определение дискурса, а также от того, как трактуется само соотношение понятий текста и дискурса. Как и при описании языковой системы, здесь возможны две стратегии – идти в исследовании “сверху – вниз” или же “снизу – вверх”. С высоты “дискурсивного полета” (когда точкой отсчета оказывается сам дискурс) и взгляда на синтаксис “сверху” грамматика выступает как особое руководство по обработке текстов (см. 23, с. 81 114): Популярным для современного функционализма становится поэтому тезис о мотивации всей грамматики дискурсивным **употреблением**. “Только глядя на естественный дискурс, а точнее –

разговорный дискурс, мы можем выяснить дистрибутивные модели, непосредственно связанные с вопросом о том, как возникают интересующие нас грамматические модели” (33, с. 250; см. также 13, с. 280-281).

О соотношении понятий текста и дискурса мы уже писали (см. 1). Заметим, что эти понятия связаны скорее как взаимоисключающие. Не случайно при их исследовании равно изучаются и отдельные текстовые категории, прежде всего **связность**, или же распределение потока информации (в тексте и дискурсе). Литература по этим проблемам требовала бы специального освещения, и мы сошлемся поэтому лишь выборочно на имеющиеся работы (32, 14, 10). Напомним также, что еще совсем недавно само понятие дискурса определялось через представление о связной цепочке предложений или высказываний или пропозиций (например, в работах 5, 16). Нельзя не сказать, наконец, и о том, что существует огромный массив специальной литературы, посвященной проблемам понимания текста в дискурсе, в которой подчеркивается роль создания ментальных моделей в процессе их восприятия (особенно подробное освещение такие ментальные модели получили в работах Ф.Джонсон-Лэрда, с одной стороны, в трудах Т. ван Дейка и В. Кинча – с другой, и, наконец, у Ж.Фоконье и его последователей). Общим для анализа и текста, и дискурса является очень важное для их понимания обращение к декодированию неочевидных смыслов в том и другом (см., например, литературу по информации или же герменевтике, в частности, 16, с. 39).

Приведенные разъяснения позволяют подойти к конституирующим дискурс главным его характеристикам. Дискурс, правильно указывают А.А.Кибрик и В.А.Плунгян, – это “функционирование языка в реальном времени” (10, с. 308). В этом определении реальное время следует, однако, понимать расширительно, т.е. так, как мы об этом писали выше, – как время (исторически определенное, конкретное), релевантное для имевшего место фрагмента речевой деятельности или же сформированного текста. И если в анализе дискурса справедливо подчеркивается факт его исследования on-line (9, с. 126-127), что объясняется далее через формулу “в интерактивном/диалоговом режиме”, то я бы отметила здесь скорее то, что рассмотрение on-line предполагает прежде всего рассмотрение речевого произведения или же текста по мере его поступления, по мере его понимания, а значит, в динамике. Думается, что, с одной стороны, это ведет к стремлению разграничить понятия текста и дискурса по линии статики-динамики, подчеркнуть в последнем понятии интеракциональный характер взаимодействия людей или же, наконец, дифференцировать “структурный текст – как продукт и функциональный дискурс – как процесс...” (15, с. 71). С другой стороны, это ведет к попыткам свести понятие дискурса к **устной**, реально произносимой речи и считать, что главной единицей структуры дискурса, его отдельным квантом, является единица **интонационная** (см. известные работы У.Чейфа и их освещение в работах 9, 10).

В принципе и в тех, и в других случаях понятие дискурса сужается и получает одностороннюю интерпретацию, что нам представляется нежелательным. Мы солидарны скорее с положениями о том, что “дискурс – более широкое понятие, чем текст. Дискурс – это одновременно и процесс языковой деятельности, и ее результат (=текст)” (см. 10, с.307).

Хотелось бы добавить к этому, однако, и то, что при дискурсивном анализе и процесс языковой (речевой) деятельности, и ее результат (=тексты) рассматриваются во вполне определенном ракурсе, с определенной точки зрения и, конечно, для решения особых задач. Всем этим ограничениям и был, собственно, посвящен настоящий обзор.

Отсылая читателя для знакомства с более подробными сведениями о дискурсе и дискурсивном анализе к другим обзорным публикациям (особенно 9, 10, 15), мы бы хотели вернуться еще раз к тому, с чего начинали наш обзор, – к указанию о том, что в настоящее время понятие дискурса входит в новую формирующуюся у нас на глазах парадигму лингвистического знания: когнитивно-дискурсивную. В силу собственных научных интересов мы бы могли, завершая обзор, отметить, насколько перспективными и интересными представляются нам исследования дискурса с когнитивной точки зрения. И все же дело не только в этом: по самой своей сути дискурс – явление когнитивное, т.е. имеющее дело с передачей знаний, с оперированием знаниями особого рода и, главное, с **созданием новых знаний**.

Но и уже созданное в дискурсивной практике людей продолжает жить далее своей жизнью, и снова может анализироваться как бы по мере его создания, и снова служить проникновению вглубь, за пределы чисто языковой данности, притом как в социальные установки и особенности разных слоев общества, так и в национально-специфические культурологические характеристики отдельных этапов в истории людей, и, наконец, наверно,

главное – в разные ментальные пространства людей, выступающих в разных ролях в осуществлении разных типов дискурсивной деятельности.

Список литературы

1. Александрова О.В., Кубрякова Е.С. Дискурс // Категоризация мира: время, пространство. – М., 1991. – С. 3-18.
2. Арутюнова Н.Д. Дискурс // Лингвистическая энциклопедия. – М., 1990. – С. 136-137.
3. Бондарко А.В. О стратификации семантики // Общее языкознание и теория грамматики. – СПб., 1998. – С. 51-63.
4. Дейк Т.А. ван. Язык. Познание. Коммуникация. – М., 1989. – 311 с.
5. Демьянков В.З. Англо-русские термины по прикладной лингвистике и автоматической переработке текстов. — М., 1982. – Вып.2.: Методы анализа текста.
6. Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. – М., 1998. – 528 с.
7. Изворска Р. Формальная семантика // Фундаментальные направления современной американской лингвистики. – М., 1997. – С. 207-230.
8. Караулов Ю.Н., Петров В.В. От грамматики текста к когнитивной теории дискурса // Дейк Т.А. ван. Язык. Познание. Коммуникация. – М., 1989. – С. 5-11.
9. Кибрик А.А. Когнитивные исследования по дискурсу // Вопр. языкознания. – М., 1994. – № 5. – С. 126-139.
10. Кибрик А.А., Плунгян В.А. Функционализм и дискурсивно-ориентированные исследования // Фундаментальные направления современной американской лингвистики. – М., 1997. – С. 307-323.
11. Клобуков Е.В. Части речи в аспекте когнитивной лингвистики // Вестн. Моск. гос. ун-та. – Серия 9. Филология. – М., 1999. – № 1. – С. 138-145.
12. Кубрякова Е.С., Александрова О.В. О контурах новой парадигмы знания в лингвистике. – М., 1999 (в печ.).
13. Кубрякова Е.С. Части речи с когнитивной точки зрения. – М., 1997. – 331 с.
14. Лузина Л.Г. Распределение информации в тексте: когнитивный и прагматический аспекты. – М., 1994. – 175 с.
15. Макаров М.Л. Интерпретативный анализ дискурса в малой группе. – Тверь, 1998. – 200 с.
16. Николаева Т.М. Единицы языка и теория текста // Исследования по структуре текста. – М., 1987. – С. 27-52.
17. Ревзина О. Язык и дискурс // Вестн. Моск. гос. ун-та. – Серия 9. Филология. М., 1999. – № 1. – С. 25-33.
18. Степанов Ю.С. Альтернативный мир, дискурс, факт и принципы причинности // Язык и наука конца XX века. – М., 1995. – С. 35-73.
19. Brown G., Yule G. Discourse analysis. – Cambridge, 1983. – 296 p.
20. Chafe W. Beyond beads on string and branches in a tree // Conceptual structure, discourse and language. – Stanford, 1996. – P. 49-66.
21. Dinsmore J. Partitioned representations: A study in mental representation, language understanding and linguistic structure. – Dordrecht, 1991. – 331 p.
22. Focus and coherence in discourse processing/ Ed. by Rickheit G., Habel Ch. – Berlin; N.Y., 1995. – 300 p.
23. Givon T. From discourse to syntax: grammar as a processing strategy // Syntax and semantics. – N.Y., 1979. – 533 p.
24. Handbook of discourse analysis / Ed. by Dijk T.A. van. – L., 1985. – Vol.1: Disciplines of discourse.
- Vol.2: Dimensions of discourse.
- Vol.3: Discourse and dialogue.
- Vol.4: Discourse analyses in society.
25. Harre R., Gillett G. the discursive mind. – L., 1994. – 324 p.
26. Luchjenbroers J. Schematic representation of discourse structure // Conceptual structure, discourse and language / Ed. by Goldberg A.E. – Stanford, 1996. – P. 347-358.
27. Nuyts J. Functionalism vs. formalism// Handbook of pragmatics: Manual. – Amsterdam, 1995. – P. 293-300.
28. Schiffrin D. Approaches to discourse. – Oxford, 1994. – XI, 192 p.
29. Seriot P. Analyse du discours politique sovietique. – P., 1985. (Culteres et societes de l'Est. 2).- VIII, 386 p.
30. Shotter J., Gergen K.J. Social construction: knowledge, self, others, and continuing the conversation // Communication Yearbook. – L., 1994. – Vol.71. – P.3-33.
31. Stubbs M. Discourse analysis: The sociolinguistic analysis of natural language. – Oxford, 1983. – 316 p.
32. Syntax and semantics /Ed. by Givon T. – N.Y.; L., 1979. – Vol.12: Discourse and syntax. – 533 p.
33. Thompson S.A., Mulac A. The discourse conditions for the use of the complementizer that in conversational English // J. of pragmatics. – Amsterdam, 1991. – Vol.15. – P. 237-251.

Е.С.Кубрякова

ФУНКЦИОНАЛИЗМ В ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ КОНЦА XX В.

1. Общая характеристика подхода

Лингвистический функционализм в современном терминологическом смысле этого слова, – детище XX в. (29, с.564). В то же время идеи функциональной грамматики освящены традициями различных национальных школ, в частности, в русском языкознании их корни можно видеть в трудах К. С. Аксакова, А. А. Потебни, И. А. Бодуэна де Куртенэ, А. А. Шахматова, А. М. Пешковского (5, с.565).

Общелингвистические течения первой половины XX в. в разной степени “функциональны” (105, с.XI): в наибольшей степени типичен пражский функционализм, затем идет лондонский и только после этого голландский. Функционализм Женевской школы, прототипично представленный Ш. Балли (с влиянием, оказанным на Теньера, Мартине и Хельбига в других странах), был довольно умеренным (самого Ф. де Соссюра к функционалистам не относят) и реалистично смотрел на функциональное объяснение фактов языка, ср.: “Есть у нас надежные критерии, чтобы судить о языках с точки зрения общения? Вряд ли, потому что ответ на этот вопрос предполагал бы, что нами просмотрена вся лингвистическая система под очень специальным углом зрения” (2, с.396). По убыванию “формалистичности” идут: Копенгагенская школа – дескриптивизм – тагмемика.

В рамках функционалистской традиции модели языковой компетенции (competence) очень разнообразны. Эти модели создавались в Восточной Европе (Дежэ, Фирбас, Матезиус и др.), в Великобритании (Халлидей), к ней относились или относятся, среди прочего, порождающая семантика (Чейф, Филлмор), анализ дискурса (Чейф, Гивон, Ли, Хоппер, Томпсон), когнитивная грамматика (Лангаккер, Лакофф), конструкционная грамматика (Филлмор), грамматика ролей и референции (Фоли и Ван Валин), а также функционалистские объяснения в рамках “стандартной генеративной теории” (С. Куно). Все это – разновидности “функциональной грамматики” (53, с.4).

Для лингвистического функционализма характерно мнение, что формы естественных языков создаются, регулируются, подчиняются требованиям, усваиваются и используются ради их коммуникативных функций. Этот подход противопоставлен теориям языка, постулирующим строгое разграничение между структурой и функцией, и тем теориям, в которых стремятся описывать и объяснять структурные факты *suī generis*, без соотнесения с ограничениями на форму, предъявляемыми целями коммуникации и средствами и ограничениями переработки информации человеком.

Функционализм как методическая теоретическая концепция выкристаллизовался в социологии раньше, чем в филологии. Лингвистический функционализм абсолютно непохож на философский (53, с.3-4). Больше всего сходств у лингвистического функционализма с конструктивизмом в математике и психологии.

2. Функционализм в общенаучном аспекте

Выражения “функционализм”, “функциональный анализ” и “функциональное объяснение” используются в самых разных смыслах. “Функциональное объяснение” используется в антропологии, физиологии и психологии (240, с.27-35), когда начинают с идеи “системы”, которая, функционируя, реализуется в наблюдаемых явлениях. Сама система состоит из своих элементов или реализует процессы или деятельность. По (181), при функциональном объяснении “функция” (как часть системы) дает необходимые условия для стабильности, “здоровья” и выживания системы в целом.

Другое понимание функционального анализа – в работах Б. Скиннера: это одновременно объяснение и прогноз поведения в терминах “внешних переменных” или “переменных окружения”; опирается такое объяснение на тезис: “Поведение есть функция окружения”.

Третья разновидность опирается на понятие системы внешних, а не внутренних функциональных состояний (F-состояний). “Внутренние состояния” для этого подхода производны от внешних. Наконец, четвертое направление – “структурно-функциональный анализ” — представляет собой разновидность физикализма. На первой стадии исследования рассматривают некоторую характерную деятельность системы – скажем, деятельность, связанную с запоминанием людей и животных. В этой деятельности выделяются функциональные части в терминах научной психологии, которые интерпретируются как взаимодействие некоторых функций. А вторая стадия состоит в попытке найти, для каждой из таких функций, физический локус или место в процессах организма, “реализующие”, или “выполняющие” эти функции. (Критику всех этих направлений см.: 240, с.36-44).

Итак, функциональность – характеристика теоретического объяснения, а именно, когда предполагают, что явление объяснимо некоторой – обычно одной, доминирующей (151, с.75) – сверхзадачей, а от физической реализации этих состояний отвлекаются, стремясь к онтологически нейтральной позиции (336, с.194).

Выделяются две разновидности такого подхода: семантический и эмпирический функционализм (336, с.196). Семантический функционализм описывает любые (даже нереальные) ментальные явления, а эмпирический – только “реальные” ментальные явления, по презумпции существующие.

Термины “функционализм” и “функциональный анализ” в гуманитарных науках часто противопоставляются термину “герменевтика” (298, с.11), но сближаются с классическим когнитивным направлением (97, с.2), в котором предполагается, что ментальные состояния можно идентифицировать, только если принять во внимание каузальные отношения между входом, выходом и ментальными состояниями (175, с.40).

Завоевал функционализм прочные позиции и в комплексе наук о мозге (в “нейронауке” в 1970-е годы) как метод объяснения специфики когнитивных процессов (281, с.36).

Функционалист принимает, что мысленные состояния и события действительно “происходят” в голове человека и обладают существенными функциями. Это значит, что есть внутренние состояния и события, обладающие такими функциями. В отличие от прямолинейного бихевиоризма, функционалисты позитивно относятся к внутренним процессам (171, с.833-834). Итак, функционализм:

— предполагает, что поведенческие диспозиции являются результатом взаимодействия различных мыслительных состояний – там, где бихевиоризм однозначно приписывает поведенческие диспозиции индивидуальным мыслительным состояниям мнения или желания;

— приписывает мыслительные состояния и события живому существу только в том случае, если есть соответственно функционирующие внутренние состояния, — в то время как бихевиоризм говорит о мыслительных состояниях и мнениях только при наличии поведенческих диспозиций, вне зависимости от того, какие внутренние состояния ответственны за эти диспозиции.

2.1. Функционализм в социологии

Функционализм представлен в тех социологических и философских концепциях, в которых задаются: 1) модус взаимозависимостей, представляющий класс сопоставления, 2) элементы (выявленные в результате констатации таких отношений) – “функциональные эквиваленты”, — принадлежащие классу сопоставления (262, с.146).

В социологии функционализм подчеркивает (341, с.11): 1) общую взаимосвязь частей системы, 2) существование “нормального” положения дел, или состояния равновесия, аналогичного нормальному, или здоровому состоянию организма (биологическая метафора “функции” в противоположность “дисфункции”, см. ниже), 3) закономерности, по которым все части системы переорганизуются для того, чтобы вернуть систему к нормальному состоянию, если равновесие нарушено.

К интеллектуальным родителям функционализма в социологии относятся: О. Конт (1789-1857), Г. Спенсер (1820-1903), В. Парето (1848-1923), Э. Дюркгейм (1858-1917), Б. Малиновски (1884-1942), А. Редклифф-Браун (1881-1942). Из них наиболее важным предтечей функционализма является, несомненно, Дюркгейм. Главные представители современного функционализма в западной социологии (341, с.12):

1. Т. Парсонс (1902-1979), опиравшийся на типологию “общности-общества”, выдвинутую Ф. Тениеса (1855-1936). Парсонс использовал также идею гомеостаза,

складывающегося из адаптации, достижения цели, интеграции, поддержания скрытых структур и снятия напряженности. Кстати сказать, этнометодология возникла как реализация проекта структурно-функционалистской социологии Парсонса (58, с.5).

2. Р. К. Мертон (р. 1910), развивавший функциональный анализ “среднего уровня”, сосредоточенный на конкретном явлении в рамках некоторой социальной системы (98, с.131). Аналитик пытается показать, как это явление дает толчок к усилению или уменьшению стабильности системы в целом. Когда явление негативно влияет на стабильность, говорят, что имеет нормальное функционирование нарушено, имеет место дисфункция. Итак, функциональный анализ – стратегия для получения гипотез, которые можно подвергнуть эмпирической проверке с помощью сопоставительных или иных методов (98, с.131).

В американской социологии и социальной философии понятие “роль” введено в оборот работами Ральфа Линтона и Г. Х. Мида. Именно линтоновское понятие и было усвоено функционалистами, в результате “роль” потеряла прямую ассоциацию с театром. Основное функционалистское положение может быть сформулировано так: всякая экспликация феномена должна формулироваться в терминах его роли в системе (критику такого положения с эпистемической точки зрения см. (279, с.102). А в работах Мида и его последователей эта “театральная” коннотация постоянно подчеркивалась (270, с.5). Ролевому рассмотрению подвергались не только литературные тексты, но и практически любое человеческое действие – в литературе, истории и обществе. Театральная “драма” – аналог проблемы в реальной человеческой жизни. “Драматический” метод состоит в том, чтобы выявить человеческую мотивацию не в чисто метафорическом смысле, а так, чтобы понять, что люди действительно исполняют роль, “act”, поскольку именно “действие” – качественная составная часть драмы (75, с.12).

Между социологической и лингвистической разновидностями функционализма очень много сходств, ведь язык создает основу для восприятия социальной действительности и для реагирования людей на нее. Об изменениях “форм жизни” сигнализируют описания и соответствующие разграничения понятий в обыденной речи (173, с.47). “Функциональный баланс” проявляется и в том, что грамматические процедуры воздействуют на равновесие двух конфликтующих интересов (318, с.277-278): сохранить возможность “вычислить” исходную структуру, выявить сообщение на основании поверхностной структуры, гарантировав минимальность усилий интерпретатора для такого вычисления; а при этом минимизировать усилия говорящего.

2.2. Философский функционализм

Как и бихевиоризм, функционалистская философия мысли предполагает, что “ментальность” – понятие не свойств мыслительных субстанций, данных непосредственно, а понятий комплексных КАУЗАЛЬНЫХ свойств. Фундаментальным и для бихевиоризма, и для функционалистов является убежденность в первичности каузального, физического порядка. Наши понятия мыслительного должны осмысляться посредством установления того, как мыслительное вписывается в каузальный порядок природы. Однако функционализм ничего не говорит о том, представлены ли понятия, определенные функционально, мыслительной или материальной субстанцией. Функционализм только утверждает, что эти понятия не отражают непосредственную данность (100, с.1).

Одним из направлений философского функционализма является моделирование человеческой когниции. К сторонникам такого философского направления относятся: Д. Льюис, Х. Патнам (“машинные таблицы”), Пылышин (вычислительный функционализм в искусственном интеллекте), Деннетт, Лайкан (концепция гомункулюса). Философы-функционалисты стремятся осуществить часть программы исследования когнитивной науки, выяснив, как мысленные события (mental events) опознаются и классифицируются (56, с.112-113). Функционалисты считают, что мысленные события классифицируются в терминах своих каузальных ролей. Ментальное событие описывается в терминах своей роли в мысленной системе, оно опознается и классифицируется вне зависимости от физической реализации.

Такой “машинный функционализм” родился в середине 1960-х годов, когда Патнэм и Фодор предложили компьютерную метафору для человеческой ментальности (234, с.7-8). Критикует это направление Дж. Серль, полагающий (302, с.15), что “компьютерный функционализм”, “когнитивная наука” – всего лишь удобная рабочая метафора, полезная только в эвристическом отношении. В основе такого “гомункулярного функционализма” лежит, по

(321, с.71-72), предположение, что когниция – это своеобразное вычисление, а ментальность может быть разложена на функциональные составляющие. Тезис о “функциональной композиционности” реализуется в трех направлениях:

— каждое психологическое состояние (например, установка, “attitude”) обладает своей ролью в своеобразной “психологической экономике” (42, с.265];

— ментальность модульна, т.е. имеются модули, взаимодействующие между собой, но обладающие каждый своей задачей и специализацией;

— каждый модуль, в свою очередь, представляется как более сложная организация со своими внутренними модулями, и так далее, до тех пор, пока мы не дойдем до психологически примитивных модулей.

Такой когнитивный подход, по (328, с.58), – не более, чем “старое вино в новых мехах”, а не альтернатива для бихевиористского функционализма, доминировавшего до этого в психологии, содержание все то же: редукция сложной ментальности, представление ее как взаимодействие переменных их конечного набора.

Другим направлением в практической философии является “историко-функциональный концептуальный анализ” при интерпретации текста-источника (203, с.208), в двух направлениях (203, с.33-34):

— предыстория понятий демонстрирует опорные концепты и показывает, как происходили изменения понятий;

— “мир” формируется другими понятиями, входящими в синхронную семантику анализируемого понятия на правах компонентов;

— это окружение понятия конструируется социальной действительностью, когда аналитик учитывает разграничения, существующие в рамках социальной структуры.

2.3. Литературоведческий функционализм

Типичные представители литературоведческого функционализма в XX в. – русские формалисты (например, В. Шкловский) – рассматривали главным образом взаимодействие читателя с текстом. Именно интерес к рецепции поэтического текста привел формалистов к функционалистской теории литературы, к антропологическому аспекту исследования искусства. Такой подход отвечал на вопросы, почему поэтический текст организован именно данным, а не другим образом, как читатель воспринимает текст и в чем кроется социологический фактор динамики литературной эволюции (269, с.4).

При этом учитывалось, что у любого факта, упоминаемого в литературном тексте, не одна, а целый букет функций, скажем, тематическая, формальная и какая-нибудь сугубо личная для писателя; интерпретация факта зависит от уровня, на котором интерпретатор истолковывает данный текст (189, с.18). Независимо от того, как концептуализируется часть или целое, намерение и функция, интерпретатор всегда сам является тем “я”, которое одновременно создает и представляет (презентирует) интерпретацию.

2.4. “Функциональность” в лингвистике

Лингвистический функционализм многофакторен, в частности, включает (232, с.68) положения об интенциональной основе функций, о соотносительности функции с формой, об облигаторности функции у каждого периферийного элемента системы. В. Г. Гак (11, с.180-182) отмечает также такие моменты, как роль в системе и в движении, в отношении части к целому, связь с понятием целевого назначения и диалектику связи системы и функций. В результате анализа функционалистских исследований можно выделить следующие “дифференциальные” признаки теории, совокупность которых как минимум дает основания квалифицировать те или иные концепции как функционализм:

1. Единство действия. Кантовское понятие “функция” берется как единство действия, выраженное в упорядочении различных представлений под одним, общепризнанным углом зрения (208, с.139).

2. Главенство принципов человеческой ментальности. Функциональность – то же, что значимость употребления знака, зависящая от определенного дискурсивного мира (“области опыта”) (79, с.27). Грамматики человеческих языков основаны на функциональных принципах (329, с.3). Синтаксические альтернативы, специфичные для конкретных языков, используются для указания на конкретные семантические или прагматические функции, проявляющие общие

закономерности (по-своему представленные в данном языке) в хранении и поиске информации в памяти.

Ментальные состояния полностью задаются своей “функциональной ролью” в объяснении наблюдаемого поведения (198, с.65) и не выводимы исключительно из “диспозиций к поведению”. Одни ментальные состояния объясняются через другие (198, с.65), при этом не обязательно все сводить к “физическим” свойствам как последней инстанции: важны функции, а не физическая субстанция “мозга” (197, с.15).

3. Универсальность функций речевого поведения. Структура языковой системы предопределена своими функциями. А поскольку некоторые потребности человека и общества универсальны, есть и универсальные функции, присущие речевому поведению на любом языке и проявленные в грамматической и лексической структурах (236, с.249).

4. Телеологичность языка как целенаправленной деятельности, механизмы которой предопределены целями. Язык – не готовый статичный продукт, а активное “языковое творчество” (183, с.6). Большая часть результатов функционального анализа речи может быть сформулирована в телеологических терминах (159, с.351). Например: фонологические элементы “служат” выделению значений (вычленению значений из континуума); расположение морфем или слов “служит цели” построения предложений, — так чтобы предложения и любые их части служили цели социального взаимодействия.

5. Вмешательство экстралингвистических факторов в язык и речь. Язык рассматривается не только “изнутри”, в терминах формальных свойств (таким было бы формалистское объяснение, устанавливающее отношения между элементами исключительно языкового произведения – текста), но и извне, с точки зрения того, что он дает системам, в которые входит в качестве подсистемы, — культурам, социальным системам, системам мнений и т.п. (228, с.76).

6. Соотнесенность формы и функций языка. Форма языка соответствует функциям языкового употребления, отвечает запросам этих функций. Лингвистика, как и язык, имеет различные задачи, различные функции, определяющие форму лингвистической теории (133, с.481). Следует не просто приписывать функциональные интерпретации уже выявленным единицам формы и компонентам таких единиц, а членить формальные компоненты на свои элементы и перегруппировывать их в функциональные компоненты (177, с.91). Функциональный компонент чаще не совпадает, чем совпадает с формальным.

Это положение реализуется следующими методическими презумпциями (177, с.88):

6.1. Грамматическая теория описывает множества функций. Комбинации формальных единиц, выполняющих эти функции и варьирующихся в конкретном окружении, обладают своими функциями, играют фундаментальную роль в организации формальной грамматики языка.

6.2. Анализируется множество формальных противопоставлений в рамках поверхностной структуры на уровне высказывания, а также отношения этих противопоставлений к различиям в семантико-прагматическом значении. Формальная сторона играет меньшую роль.

6.3. Закономерности, выявленные в рамках одного конкретного компонента системы, рассматриваются как результат более общих закономерностей системы в целом. Некоторые закономерности объясняются как результат взаимодействия компонентов.

6.4. То, как формальные единицы взаимодействуют между собой (вне зависимости от принадлежности компонентам системы), является единственным веским основанием для обобщений. Универсалии, касающиеся форм языка, логически выводятся из функциональных принципов.

7. Выявление связи между функцией и ее реализацией как задача анализа. Цели речи более важны, чем методы их достижения (44, с.13). Конкретная деятельность может обладать несколькими функциями и, наоборот, одна функция может быть распределена между несколькими видами деятельности. Общие задачи функционального анализа: а) выявить множество функций, важных для общения, б) исследовать, как различные функции кодируются и воплощаются в речевых действиях. Критерии выделения функций бывают как языковыми, так и внеязыковыми (44, с.13).

8. Конвенциональность функций. Системный аспект сочетается с деятельностным (106, с.142) и заключается в описании конвенционализированных функций, присущих средствам выражения, трактуемым в грамматике (106, с.164).

9. Опора исключительно на непосредственно наблюдаемую, поверхностную структуру (“сюрфасизм”), на крупные речевые образования (178, с.55). Элементарные единицы – морфемы и правила – рассматриваются как исполнители ролей в формировании семантически точных и

легко воспринимаемых, “декодируемых”, высказываний, когда стремятся к максимальной прозрачности в объяснении (178, с.55). Там, где “формалист” хочет получить максимально простую формулировку правила и/или простую, обобщенную констатацию структуры, функционалист не боится усложнения, подчеркивает множественность функций, к которым сводим синтаксический процесс, ищет закономерности на уровне целой системы (179, с.403), рассматриваемой как функционально целостный механизм общения (179, с.404).

10. Связь между общей и индивидуальной компетенциями. Социопсихологическое исследование коммуникации (социопсихологической структуры, общей для коммуникантов, общности целей и средств при реализации намерений в общении) учитывает существование очень индивидуальных, неповторимых “компетенций”, или знаний системы правил у носителя языка (266, с.215).

11. Культурологическое измерение языка. Естественные языки – инструменты культуры, используемые для систематического соединения звуков и значений для эффективной передачи символов в человеческом обществе (295, с.231). Анализ состоит в исследовании инструментальных функций языка и речи, когда в природе инструментов видят результат присущих им конкретных функций: эти инструменты обладают своими частями и свойствами, функционально взаимодействующими в рамках данного инструмента (295, с.232).

12. “Ономастиологичность”: типы внеязыковых фактов (положений дел, состояний и т.п.) выявляются и единообразно характеризуются через языковые значения (92, с.97). Составление реестра возможностей языков – “языковых универсалий” (как “возможных” свойств языков) имеет смысл только для “реальных” возможностей языков (*species civiles* у Лейбница, а не *species logica*). Типы обозначения в языках вскрываются и отграничиваются от иных типов в рамках известных языков не прямо, а на основании коррелятов таких типов. Реестр должен содержать только эмпирически зарегистрированные возможности или те, которые прямо или опосредованно вытекают из зарегистрированных.

2.5. Лингвистический функционализм

Несмотря на свою популярность, функциональный подход в лингвистике конца XX в. не имеет доминирующей самостоятельной доктрины: “Функциональная лингвистика (функционализм)”, – скорее “совокупность школ и направлений, возникших как одно из ответвлений структурной лингвистики, характеризующихся преимущественным вниманием к функционированию языка как средства общения” (7, с.566). Основным принцип такого направления – “понимание языка как целенаправленной системы средств выражения (так называемый телеологический принцип) – был выдвинут Р. О. Якобсоном, Н. С. Трубецким и С. О. Карцевским в “Тезисах Пражского лингвистического кружка” (1929), а затем развит в работах других представителей пражской лингвистической школы, а также немецкого психолога К. Бюлера, обосновавшего концепцию трех функций языка – экспрессивной, апеллятивной и репрезентативной” (7, с.566).

Так, Р. Якобсон в конце 1940-х годов писал: “Вопрос о том, в чем состоит общий знаменатель различных направлений современной науки о языке – отличающий ее от доминирующей неограмматической традиции конца XIX века, — имеет следующий ясный ответ: язык в первую очередь интерпретируется как инструмент коммуникации (*tool of communication*), а структура его анализируется в свете целей, которым служит он и его компоненты. Это – структурный, или функциональный подход, обладающий многими гранями” (201, с.49).

Эта же идея обладает эвристической ценностью для функционалиста и сегодня: язык должен изучаться под углом зрения своей роли в человеческой коммуникации (132, с.3) и рассматриваться как система такой коммуникации, а не как перечисление структурных описаний предложений. Главная функция языка – инструментальная: язык – инструмент речевого взаимодействия людей (132, с.7). Чтобы понять суть языка, необходимо посмотреть на общение. Конечно, речевое общение не всегда сводимо к передаче информации, однако можно, согласно (332, с.330), утверждать: чтобы понять природу и структуру языка, нужно учесть, что язык, подобно другим инструментам, используется для чего-то; скажем, молоток нормально использовать для забивания гвоздей, – хотя иногда его и используют вместо гири.

Иногда именно по этой линии – учет (функционализм) или отвлеченность от коммуникативного предназначения языка – и противопоставляется функционализм другим лингвистическим направлениям (170, с.513).

При функционалистском взгляде на язык часто отвлекаются от существования этических мотивов употребления языка, на первом месте – цели, а именно: интеграция, принятие, группировка интересов (186, с.12). Язык позволяет достигать своих целей. Убеждение, реклама, влияние на мировоззрение, пропаганда действуют на человека исподволь, скрыто достигая поставленных целей в той степени, в какой это позволяет язык.

Лингвистам, ограничивающимся формальным описанием языка (скорее даже частей языка), кажется, что их работа завершена, когда все части упорядочены или подведены под категории, подсказываемые выбранной ими концепцией. В том самом месте, в котором формалистам работа становится неинтересной, к делу приступают функционалисты (144, с.39), со своими стандартами объяснительности. Иногда им представляется, что то, что формалисты умеют объяснять, второстепенно или незначительно или даже иллюзорно.

Функциональное описание языка охватывает: 1) систему речевой семантики и функций со своими аргументами; 2) морфологическую систему; 3) прагматическую систему, включающую такие понятия, как иллюкутивная сила, пресуппозиция, топиковость и определенность; 4) систему социальных норм, управляющих различными видами речевых событий и деятельности (132, с.14). Функционалист ориентируется на описание языка в терминах типов речевой деятельности и типов конструкций, используемых в ней, стремится только констатировать взаимодействие синтаксиса, семантики и прагматики (в различных языках неодинаковое), не берясь что-либо предсказывать: функциональные теории занимаются системами, а не реальным поведением (132, с.15). В центре внимания находятся средства, используемые языками для указания на ситуации (и их участников) в дискурсе (132, с.25). Причем микросоциологический функционализм теории систем не совпадает с макросоциологическим функционализмом анализа разговора и объективной герменевтики (299, с.165).

Важным положением является “принцип противоположности”, соотносящий функцию с объемом употребления языковых форм: “Функции языковых форм определяются объемом употребления этих форм. Поэтому и функция формы должна определяться в отношении к другим формам, употребляемым рядом с ней в данной семантической или синтаксической области” (24, с.131-132).

Итак:

1. Языки рассматриваются как инструменты для выполнения своих функций. Форма инструмента отражает эти функции, подчиняясь их императивам. Языки структурированы так, чтобы годиться на выполнение этих функций. Есть иерархия функций. Главной является функция сообщения (коммуницирования), лежащая в основе всех остальных функций (238, с.2).

2. Части сложных структур языка обладают различной значимостью, важностью, предопределяемой функциями этих частей.

Функциональный подход в грамматическом описании упрощает грамматику, освобождая ее от искусственных формальных приемов (таких, как “деривационные ограничения”, фильтры на поверхностную структуру и т.п.). Существуют лишь принципы восприятия и межличностного взаимодействия, работающие даже за пределами языка (260, с.492). Эти прагматические факторы служат аргументами в пользу того или иного устройства грамматики (243, с.417), представляющей структуру в терминах “функций”. При таком “интегральном” подходе каждый элемент описания выполняет определенные функции в рамках системы языка (315, с.7).

В грамматике описывается не только множество возможных предложений данного языка и отношения между ними, но и выбор из числа семантически эквивалентных предложений, т.е. выбор альтернативных поверхностных реализаций одной и той же исходной структуры (322, с.311). Такой функциональный синтаксис предполагает предварительно выполненное формальное описание. В рамках неинтерпретативного функционализма описание состоит в констатации того, какие факультативные трансформации запрещены в конкретном контексте и/или ситуации. В интерпретационном функционализме констатация – указание контекстов и/или ситуаций, в которые может включаться данная форма предложения. Там, где представители первого взгляда исследуют правильно построенные предложения (а точнее, системы грамматических правил, порождающих предложения), функционалисты второго направления подчеркивают использование этих предложений в реальном процессе общения (199, с.5). Ярким примером интерпретативного функционализма является теория речевых актов.

3. Функциональное объяснение в лингвистике и за ее пределами

Функционализм – форма объяснения, промежуточная между формулированием законов (подобных законам природы) и рациональным культурологическим объяснением (традиционно принятым для событий культуры) (267, с.14). С точки зрения эпистемологии, это компромисс между различными способами объяснения, а с институциональной точки зрения – организация научной деятельности, нацеленная на “мирное сосуществование” различных научных дисциплин, обменивающихся своими результатами, но не вмешивающихся во внутренние дела друг друга (281, с.37). При этом стремятся объяснить кажущуюся или действительную приспособленность, гармонию в тех областях, в которых маловероятно предполагать преднамеренное достижение этой гармонии.

В языкознании функциональное объяснение развивалось и в диахронических исследованиях (например, А. Мартине), и при описании синтаксической структуры (Т. Гивон, С. Куно и др.).

Типично такое выражение функционалистского умозаключения: “А возникло и развивалось для того, чтобы В”. Например, языки обладают свойством Р, потому что, если бы они им не обладали, то мы не могли бы: а) их выучить, б) планировать и продуцировать предложения эффективно и надежно, в) делать обычные сообщения (93, с.94). Так, фонемы дифференцированы в фонологическом пространстве для того, чтобы облегчить понимание; богатая система падежной маркировки объясняется через “функцию” сделать так, чтобы язык со свободным порядком слов мог передавать сообщение; другие синтаксические структуры объясняются, скажем, как выполняющие определенное задание в разговоре и т.д. Такие рассуждения обладают только эвристической ценностью.

Для того чтобы не допускать причину после результата, функционалист объявляет функциональную связь результатом: 1) естественного отбора, аналогичного законам в биологии; для языкознания такой подход малоправдоподобен: вряд ли выживают только те организмы, которые, скажем, обладают данным, а не иным репертуаром фонем; 2) осознанного стремления человека к достижению целей; однако это объяснение ограничивается теми случаями, когда, например, мы избегаем употребления тех или иных слов; 3) работы подсознания, поощрения одних вариантов и подавления других, когда человек регистрирует и последствия своего непреднамеренного поведения, и преднамеренные свои действия (267, с.14).

Характер функциональных объяснений (в терминах эффективности структуры языка) бывает различным. В них свойства языковой структуры могут, например (91, с.87) связываться с аспектами человеческой когниции или с эффективностью соотнесения значения и формы – это “семанτικο-прагматический” тип объяснения. Особенно ярко функциональное объяснение, когда мы имеем дело с грамматическим исключением, которому можно дать мотивирующее прагматическое объяснение (91, с.99).

Функционалисты и когнитивисты считают, что четкую границу между языком и его физической реализацией провести нельзя; язык онтогенетически и филогенетически уходит глубоко корнями в свое “телесное” основание, а именно в ментальность, “mind” (49, с.34-35). Отсюда и вытекает, что грамматика не может быть независимой от значения.

С этим же положением можно связать (303, с.117) и тезис о дискретной природе концептуальной стороны категории, ее “representandum”: как и физический объект, эта концептуальная сторона обладает бесконечным набором свойств, а языковая сторона, ее воплощение, демонстрирует как прототипические, так и непрототипические реализации в той или иной степени. Таким образом (41, с.149), четкую границу нельзя провести и между прототипическим и непрототипическим употреблениями языка (скажем, в случае метафоры). Например, прибегая к метафорам, человек подсознательно опирается на несколько разных стратегий, черпая материал из нескольких семантических полей одновременно. Понимание языка в таких случаях все-таки протекает за конечное время постольку, поскольку в конкретное историческое время набор наиболее тематизированных областей очень ограничен. А сама категоризация элементов языка рождается только по ходу дискурса (188, с.747).

Более того, язык – не какая-нибудь “кодовая структура”, но еще и совокупность норм, отражающих и способы (модусы) репрезентации, и культурные универсумы, различие между которыми проявляется при переводе с языка на язык (48, с.231). Семиотическая структура языка участвует в классификации значения. Она реализует свою первичную функцию, состоящую в коммуницировании посредством системы знаков. Именно в этом отношении язык можно понимать как валентности, реализуемые коммуникацией. Парадигма актуализируется и превращается в предложение. Такая функция объединяет семиологическую систему, историю и

рассматриваемый социокультурный мир синхронии. Таким образом язык адаптируется к миру, а мир проникает в язык. Это значит, что семиологическая система предполагает сигнификативные характеристики, поскольку знак есть компромисс в деятельности того, кто им пользуется – говорящего или пишущего (48, с.233).

Итак, понимать язык – значит опираться не только на природу текста, но и на дискурсивные процессы, в результате которых текст продуцируется и понимается, т.е. объяснить функционирование данного текста в обществе (225, с.5). Подход к языку как к социальной семиотике предполагает, что функция текста – результат настройки контекстных переменных, включая сюда участников общения и фоновые знания, привносимые этими участниками в ситуацию общения. Вот почему можно сказать, что значения текста – результат договоренности, достигаемой (постепенно, не сразу) общающимися людьми, и эта договоренность постоянно подвергается корректировке, поскольку фоновые знания говорящего и адресата не одинаковы и меняются.

Кроме того, без учета социальных факторов функционирования языка невозможно понять, как с помощью языка выражаются и реализуются этические ценности, способы понимания и регуляция действия, характерного для общности людей (104, с.1). Ведь это выражение наиболее детально проработанно и ясно именно в языке, что показывает концептуальный анализ этических терминов (104, с.3). Вытекает эта ценностная пропитка языка из того, что, как отмечается в работе (204, с.9), социализационная функция языка является двойной: при передаче язык обладает инструментальным характером, а при означивании – оценивающим. Как технический инструмент передачи знаний язык состоит из выражения и коммуникации с членами общества. В оценивающей же функции язык продуцирует значение, включающее в себя, в явной или неявной форме, нормативную или аксиологическую систему, управляющую обществом. И чтобы это понять и описать, нужно рассмотреть употребление языка в социальном контексте, в который язык “погружен”.

Язык рассматривается как инструмент, используемый, главным образом, для создания сложных структур социального взаимодействия (103, с.74). Сообщения передаются, чтобы изменить что-то в интерпретаторах. Язык (*langue*) интересен только в той степени, в какой объясняет свойства речи (*parole*). Компетентия интересует функционалиста только как основа для описания речевого исполнения носителя языка (103, с.75). Отсюда в рамках “функциональной грамматики” С. Дик (103, с.75-76) делает большое количество выводов.

Выделяются (63) два основных типа теорий, опирающихся на функциональное объяснение:

1. Теория поведенческого контекста, утверждающая, что языковые структуры существуют в силу общих свойств употребления языка и свойств мысли. Эта теория уклоняется от предсказания конкретных свойств грамматики, которая не рассматривается вовсе или считается фикцией, удобной абстракцией (63, с.588).

2. Интеракционистский подход, объявляющий, что механизмы мысли формируют определенные аспекты языковой структуры (63, с.585-586). Грамматика обладает психологической реальностью и объяснима через функции одной из систем поведения, с которыми взаимодействует. В этом ключе исследуются усвоение языка, продуцирование и восприятие речи. Эти системы, формируясь у ребенка, ограничивают спектр неологизмов и переосмыслений структуры высказываний. Некоторые структуры высказываний невозможны не потому, что не укладываются в грамматические универсалии, а потому, что их невозможно употребить или усвоить при промежуточной структуре еще не укомплектованной грамматики ребенка. Среди наблюдаемых фактов языка различаются следствия систем поведения и результаты универсальных свойств грамматических форм. Это по-своему конкретизирует тезис о врожденности структуры языка (63, с.590).

Описывая функцию чего-либо наличного в настоящем, указывают на потенциальное, а не реальное будущее событие и/или его результат. Характеризуя биологическую функцию или функцию предметов, используемых человеком, задают некоторый актуально существующий объект через описание некоторого будущего события или состояния дел (64, с.181). Так, функция зубов во время T – пережевать пищу во время T' , где $T' > T$. Трудность в том, что результата часто нет. Функция жала осы ясна, но далеко не все осы используют свое жало. Поэтому функционалист описывает не действительные, а лишь потенциальные свойства. В этой связи можно выделить (24, с.181) два типа функциональных теорий.

1. Элиминирующий подход: функция указывается в терминах будущих и, возможно, отсутствующих результатов.

2. Ретроспективный подход: обращаются к предшествующим представлениям и/или к истории естественного отбора; такой подход связан с анализом эволюционистского понятия уместности. На функцию смотрят через призму “диспозиций”.

А теория сама по себе обладает четырьмя функциями (164, с.96):

- объяснять, организовывать знание, прогнозировать и систематизировать старые, сегодняшние и будущие данные, т.е. охватывать факты и быть правильной;
- быть элегантной, удовлетворительной, связной, нетривиальной и стимулирующей; известно, что эстетическая неудовлетворительность теории заставляет ее усовершенствовать;
- быть продуктивной, порождать свою аудиторию и вдохновлять эту аудиторию на добывание новых данных; если теория постоянно не перепроверяется, она постепенно может угаснуть;
- быть заменимой, что не то же, что фальсифицируемость в философском смысле слова. Если теории нельзя возразить, если в ней нельзя найти изъянов, то она из теории превращается в религию; социальное требование к теории: она должна стимулировать на замену ее еще более объяснительной теорией.

Эти четыре критерия взаимозависимы (164, с.96):

ИСТИННОСТЬ

ЗАМЕНИМОСТЬ

ЭЛЕГАНТНОСТЬ

ПРОДУКТИВНОСТЬ

Здесь напрашивается аналогия с диаграммой и набором функций, предложенными Р. Якобсоном (см. далее). Однако здесь речь идет о функциях теории, а не языка.

4. “Функциональное” и “формальное” объяснение

Покоится ли языковая способность человека на каких-то не до конца выясненных когнитивных способностях – или же человек – всего лишь специализированная функция духа? На этот вопрос по-разному отвечают представители двух теоретических лагерей в лингвистике (320, с.1).

Формалисты образуют один лагерь, считая синтаксис независимым модулем духа и исследуя именно такой автономный способ функционирования языка. Отношение с когнитивными категориями у синтаксиса тогда считается опосредованным. Формалистское направление реализовано, в частности, в концепции универсальной грамматики, в которой принят тезис о врожденной (в основных чертах) организации грамматики и о когнитивных структурах, привязанных к конкретным проблемам, решаемым с помощью такой грамматики в реальной жизни. Так (178, с.54-55), “формальный” подход Хомского состоит в вычленении конкретных единиц грамматики (например, морфем), при предположении, что более крупные единицы – такие, как предложения – порождаются одинаковым образом в результате автоматической работы серии “правил”. В более широком плане не обязательно формализм привязывать к конкретному типу формального аппарата для описания языка: в основе формалистского подхода лежит именно специфическая эвристическая установка, задающая тон в эстетической оценке своих и чужих теорий языка.

А функционалисты исходят из функции языка как средства общения и рассматривают грамматику как прежде всего инструмент эффективной организации информации. Структура этого инструмента предопределяется именно функцией (“form follows function”). Различные синтаксические категории в такой функциональной теории грамматики – не независимые величины, а непосредственные отражения когнитивных категорий.

Первоначально предполагалось, что такая процедура анализа очень проста: от понятия – через функцию – к языковым реализациям: так полагал О. Есперсен в 1929 г. (13, с.399). Этот взгляд развивался при переходе от структурно-формальной перспективы к функционализму, а именно (77, с.25), от чисто синтаксического подхода хомскианского типа (“говорить – значит строить или идентифицировать предложения в соответствии с правилами языка”) – к

исследованию семантических аспектов (“говорить – значит использовать язык в применении к контексту, к собеседнику и в рамках целей общения”).

Однако следует быть настороже: используя только функциональные соображения, игнорируя структурные, мы рискуем запутаться в хитросплетении функций, которые обладают на самом деле разной степенью существенности (142, с.34). В результате разделения труда (227, с.5) грамматическое объяснение должно быть формальным, а прагматическое – функциональным, см. также (226, с.418). Эти взгляды просто взаимодополнительны (32, с.106).

При этом (142, с.38) вряд ли верно считать (хотя именно таково мнение очень многих современных лингвистов), что понятийно-функциональная база языка и общения универсальна, т.е. что имеется ограниченный инвентарь функциональных областей, кодируемых синтаксисом и позволяющих проводить сравнение языков. Довод против этого состоит в том, что одна и та же функциональная область зачастую кодируется в разных языках с помощью просто разных ТИПОВ структур. Именно из этого наблюдения и исходит понятийно-функциональная (notional-functional) концепция синтаксической типологии. Набор самих семантических понятий, лежащих в основе синтаксиса, должен выявляться на основе каждого отдельно взятого языка и не обязательно универсален.

Формальный анализ связан не с теми же уровнями классификации, что и функциональный (182, с.1): формальное описание оперирует в терминах классов слов, таких как имя, глагол, прилагательное, а также разных морфологических признаков каждого класса. А функциональное описание классифицирует эти формальные элементы в терминах функций, ими выполняемых, таких как подлежащее, дополнение и обстоятельство, входящих в состав предложения. Только семантическое описание связывает эти два уровня, анализируя различные значения, репрезентируемые с помощью этих формальных и функциональных категорий. (Ср. противоположный, радикально-формалистический взгляд (317, с.30-31): членение языка на уровни и соотношенность составляющих предложения предопределяет функция.)

Отсюда вытекает подход к грамматической типологии как к установлению бытующих функций конкретных языков и исчислению для каждой функции основных структурных средств, с помощью которых различные языки кодируют – или выполняют – эту функцию (143, с.7). Причем (307, с.442) речевое выражение не зависит прямо от формальных категорий языка при реализации функциональных категорий. Ведь функциональные категории обычно комбинируются самыми разнообразными способами: например, в праиндоевропейском языке лицо только редко выражается в отрыве от числа и наоборот. А кроме того, выражение функциональных категорий бывает часто с формальной точки зрения непоследовательным. Так, скажем, простое настоящее время в английском – формальная категория, скорее вуалирующая, чем непосредственно реализующая категории глагола.

В такой или сходной структурно-функциональной теории, компромиссной между чисто структурным (формальным) и функциональным описанием (331, с.2), в частности, предполагается, что синтаксис не является автономным модулем грамматической системы, а зависит от работы семантического и прагматического компонентов.

Всегда есть случаи, когда именно функциональная перспектива наиболее наглядна в анализе конкретного синтаксического явления (216, с.1). Вообще говоря, конфликта между функциональным и “формальным” синтаксисом (например, генеративной концепцией) не должно быть. На практике же такие конфликты не редки. “Чистые” синтаксисты склонны либо синтаксически объяснять то, что естественнее объяснить как результат действия прагматических или семантических факторов, либо же игнорировать внесинтаксические явления, даже не пытаясь выявить несинтаксические факторы (216, с.2).

5. Понятие функции

5.1. Значения термина “функция”

Функциональная теория получает иногда совершенно разные толкования, в зависимости от того, как трактуется термин “функция”.

Э. Дюркгейм (110, с.49) указывал на два значения термина “функция”, из которых предпочитал второе: 1. Система жизненно важных действий в абстракции от их последствий. 2. Соответствие этих действий потребностям организма.

Явление, обладающее функцией f , тем самым считается вовлеченным в процесс, обслуживающий человека или вызываемый человеком с некоторой целью; функция же

человека, подвергаемого манипулированию со стороны других людей при достижении их целей, называется “ролью” (95, с.8).

Речь позволяет не только говорить о внешнем мире, но и создавать или формировать огромную часть социальной действительности. Соответственно, имеем различные аспекты функционирования языка – отражение, созидание, перформативность, презумптивность и т.п. (308, с.194). Тогда выделяются, как минимум, три различных группы смыслов у термина “функция” (310, с.17-18]:

1. “Референциальные” функции – абстрактная дистрибуция форм в рамках предложения.

2. “Прагматическая функция-1”: целенаправленное использование сигналов для достижения социального эффекта. Такая функция характеризует нечто с точки зрения того, как говорящие в качестве коммуникантов, использующих межличностный канал, настроенный на ту или иную задачу, квалифицируют свои речевые действия (309, с.132): как вопрос, объявление, приказ, именование и т.п. Такая функция связана с интерпретацией способности индивида стратегически использовать формы языка, т.е. так, чтобы это употребление можно было оценивать в соответствии со стандартами идеологии (мировоззрения) и/или уместности (308, с.206). Это истолкование функции лежало в основе пражского функционализма, см. (17, с.7). Близко к этому понимание у Л. Блумфилда (65), формулировавшего проблему описания “хорошей” (в противоположность “плохой”, неправильной) речи. Рассуждения Блумфилда (66) о вторичной и третичной реакциях на язык наводят на мысль, что метаязыковая функция взаимосвязана с формированием “языковой идеологии” (308, с.206).

3. “Прагматическая функция-2”: индексное употребление экземпляров формы – и взаимная дистрибуция экземпляров форм самих по себе (при определении связности дискурса), и дистрибуция экземпляров формы в отношении к внеязыковому контексту употребления языка. Это употребление дает индексное значение языка (309, с.142): отношение языкового сигнала к своему контексту употребления, иногда именуемое прагматической (индексной) пресуппозицией или прагматическим (индексным) логическим выводом.

В другом измерении (167, с.326) выделяются такие понимания функции:

1. “Грамматическая” (или синтаксическая) функция, употребляется по отношению к элементам языковых структур – типа “агенса”, “цели”, “субъект”, “объект”, “тема”, “рема” и т.п.: роли, исполняемые классами слов, словосочетаниями и т.п. в рамках структуры единиц более высокого уровня.

2. Функция языка в целом у К. Бюлера (73), в пражском функционализме и у М. Халлидея. Многообразие таких функций (группируемых вокруг трех основных видов – идеационной, межличностной и текстовой функции) встроено в структуру языка и образует основу его семантической и синтаксической (грамматико-лексической) организации.

Функциональность языка представлена на четырех различных уровнях (200, с.16-18):

1. Обозначение: слово как уразумение данного мира, а язык как именование вещей, когда конвенция сама по себе обладает полной конституирующей силой.

2. Описание, дескрипция в ориентации целиком на вещь, когда суждения привязаны исключительно к предметам. Язык служит для описания, а предметы мира являются целью своего употребления, осмысленного использования людьми.

3. Суждение: слово как идеологическая оценка, как суждение, которое может быть и предрассудком. В зародыше такие суждения и оценки имеются в языке как описания; масштабы тогда задаются вещами, сопоставляемыми в рамках осмысленного использования в чисто прагматическом смысле, но внеположены (пока еще) этическим, религиозным и мировоззренческим оценкам, проявляющимся именно на данной третьей ступени. Эта ступень развивает оценивающее (в идеологическом смысле) слово,- не только с целью “вещного”, референтного употребления, но и для упорядочения взглядов на мир. При переходе от второй к третьей ступени появляется понятие эстетики (200, с.17).

4. Истолкование: слово получает характер интерпретации, философское свое измерение и служит не только в качестве означающего при уразумении, не только как описывающее употребление вещи и не только как морально-идеологически оценивающее, но и как инструмент философского познания, помогающий выяснять, что лежит в основе явлений.

Понятия “структура” и “функция” дополняют друг друга (250, с.95). Системы (и их подсистемы) можно представить как наборы: а) эквивалентных структур и различительных функций по отношению к “окружающему миру” (Umwelt) или б) эквивалентных “функций” и различительных структур. Концептуальное разграничение систем невозможно без учета

отношений к этому окружающему миру. Различные конкретные выполняемые задания (т.е. функции) могут рассматриваться только на фоне систем.

5.2. Функция vs. аргумент и функция как роль элемента

В данном противопоставлении “функция” имеет ту театральную коннотацию, которая типична для одного из социологических функциональных подходов (см. выше).

В свое время Г. Фреге (137, с.VII) полагал, что замена понятия “субъект” на понятие “аргумент”, а “предикат” на “функция” делает описание более прозрачным: содержание (Inhalt) речи есть функция (в математическом смысле) от некоторого аргумента. Например (137, с.16), в предложении “Катон убил Катона” при первом аргументе “Катон” имеем функцию “убил Катона”, при втором аргументе “Катон” – функцию “Катон убил”. Если же оба аргумента “вычесть” из реконструируемой функции, то получим: “убить”, которая соответствует выражению “убить себя”. Если в выражении, содержание которого не обязательно оценивается с точки зрения истинности, в одной или в нескольких позициях имеется какой-либо знак (простой или сложный), который можно заменить на другой – тоже в одной или в нескольких позициях, — то неизменная часть целого этого выражения называется функцией, а заменяемая часть – аргументом (137, с.16-17). Подлежащее, по Фреге, при этом является аргументом, выделенным из числа остальных “в уме говорящего” (137, с.18), следующий по важности аргумент – дополнение. Язык волен, когда нужно, тот или иной аргумент подавать в качестве главного, при помощи подбора слов и/или форм: ср. активный и пассивный залог, лексемы “труднее” и “легче”, “давать” и “принимать” и т.п. Эта гибкость ограничена лексическими возможностями языка. Если изобразить через “ $F(A)$ ” одноместную функцию, то, поскольку и сам символ “ F ” может быть заменен на другой, скажем, на “ F' ”, – можем сказать, что $F(A)$ – еще и функция от аргумента F (137, с.18). Сегодня эта разновидность часто называется пропозициональной функцией (см. 33, с.135-137).

Такое отделение аргументов от остальной части бывает и затруднительным, по чисто семантическим причинам: “Семантические области подлежащего и сказуемого постоянно пересекаются: идентифицирующая информация проникает в предикат, создавая наложение друг на друга указанных семантических зон; предикатные значения внедряются в значение подлежащего, маскирующегося под “данное”, под информацию, предназначенную для идентификации предмета сообщения” (1, с.375). Возможно, что “внутри состава подлежащего, и внутри состава сказуемого наиболее существенный в коммуникативном отношении компонент значения занимает наиболее периферийную позицию” (1, с.377).

Между функциями в этом понимании слова можно установить, вслед за Е. Курыловичем (см. его статью 1936 г. [24, с.59]), отношения иерархии: общий закон, касающийся отношения первичной синтаксической функции к вторичным синтаксическим функциям, состоит в следующем: Если изменение синтаксической функции некоторой формы (некоторого слова) A влечет формальное изменение A в B (при той же лексической функции), первичной синтаксической функцией является та, что соответствует исконной форме, а вторичной – та, что соответствует производной форме. Примеры: лат. *amat* “он любит” и *amans* “любящий” различаются только по синтаксической функции. Лексическое значение (действие) в обоих случаях одинаково; но, поскольку именно причастие образовано от личного глагола, а не наоборот, можно считать, что у слов с лексическим значением действия (т.е. у глаголов) первичной является функция сказуемого, а вторичной – функция определения. См. также (24, с.123).

Кроме участников действия, в качестве аргумента при функции могут выступать и другие элементы. Так, по О. Несу (255, с.185), главным аргументом глаголов (в противоположность отношениям типа “больше, чем”) является время. В локалистской концепции Дж. Андерсона (45) функции интерпретируются как производные от локативной – от указания на расположение референта (соответствующего тому или иному именованию в предложении) в пространстве.

Функции выделяются в результате анализа как связи или зависимости, регистрируемые в рамках научного описания. По Л. Ельмслеву (184, с.12), описываемый предмет задается тогда двумя путями: посредством анализа и посредством синтеза. В первом случае предмет этот рассматривается как функциональное единство, во втором же – как часть более крупного функционального единства (12, с.335-336).

В тагмемике (233, с.65) грамматические функции ассоциируются с множествами единиц и констукций. Функцию можно считать определяющим свойством некоторого множества, в то

время как множество можно назвать тем, что манифестирует некоторую функцию: “функциональное множество” можно назвать еще классом заполнителей некоторой “прорези”, слота (slot) – не реальной физической позиции, а тоже некоторой функциональной единицы. Функции тогда считаются формально выделемыми, а множествами, получаемыми при таком описании, можно оперировать так же, как и любыми другими множествами. Функция – роль, или задание, выполняемые одной формально выделимой частью конструкции в отношении к остальным частям. Предикатная часть предложения – “театр в миниатюре” (233, с.65). Опираясь на порядок слов, на падеж, на лексическую частотность, интонацию и т.п., можно выделить более или менее близкие наборы функций (233, с.66), набор функциональных классов, как правило, не зависит от выбора параметров в качестве основания.

Именно такой подход принят в стандартной генеративной модели (81): грамматическая функция приравнивается грамматическому отношению, а не грамматической категории (как было в иных грамматических концепциях). Чтобы быть последовательным, следует говорить поэтому не о подлежащем (или субъекте), сказуемом (или предикате) и т.п. как функциях, а о “предикате для” (predicate-of), “субъекте для” (subject-of) и т.п. По гипотезе о конфигурационности (принятой в стандартной модели, но отвергаемой, например, в реляционной грамматике), набор функций в предложении однозначно выводится из дерева НС: функциональность в синтаксическом представлении избыточна. Однако в более поздней модели “управления и связывания” грамматические функции существенны для получения логической формы предложения (85, с.42). Прослеживание функционального статуса той или иной составляющей (особенно именной составляющей) на протяжении трансформационной деривации предложения считается теперь важным и для установления логической интерпретации предложения в целом, вводится даже (85, с.42, 179) понятие функциональной цепи (functional chain) как функциональной истории составляющей.

Поскольку языковые системы в результате эволюции все больше и больше приспособлялись к исполнению коммуникативных функций, имеем, согласно (176, с.90), функции этих элементов в синхронной системе (описываемые в терминах морфологических оппозиций, синтаксических правил и т.п.). Одни элементы обладают большими функциями, другие – меньшими. Обычно трудно бывает проинтерпретировать функцию элемента, взятого в изоляции от остальных. Один и тот же элемент может одновременно выполнять несколько различных заданий: в качестве элемента поверхностной структуры передавать семантическую информацию, упрощать продуцирование и распознавание высказываний, обладать социолингвистическими и/или аффективными функциями и т.д.

Иногда для формализации грамматических функций – субъекта, предиката, косвенного объекта и т.п. – в рамках синтаксического представления используют дифференциальные признаки (типа: [+ прямой объект], [+ подлежащее] и т.п.), которые приписываются соответствующей составляющей (87, с.53). Изменение функции у именной составляющей по ходу трансформационной деривации тогда связано с изменениями не позиции этой составляющей в “рамке” предложения (как предполагалось в падежной грамматике) и не конфигурации дерева НС (как в стандартной генеративной модели), а набора этих функциональных признаков.

Грамматическая функция является центральным понятием лексико-функциональной грамматики (своеобразной теории функциональной интерпретации Дж. Брезнан, Р. Каплан и др.) и аналогична математической функции: аргументом является некоторая часть структуры предложения, а значением – обычно другая часть, рассматриваемая как подструктура первой. Такая функция не всегда определена для всех аргументов (это частичная функция), но не бывает “многозначной” (46, с.1). В этой же концепции (69, с.347-348) грамматические функции соотносят также поверхностную категориальную структуру с семантической предикатно-аргументной структурой: грамматическим функциям приписываются семантические роли еще в лексиконе, а синтаксические реализации – в категориальном синтаксическом компоненте. Десигнаторы в рамках лексических и грамматических схем могут указывать не больше чем на два проявления одной и той же функции (“принцип функциональной локальности”).

С эвристической точки зрения (47, с.65-66), такая грамматическая функция – любое отношение, полезное при определении структур в рамках предложения, в абстракции от конкретных грамматических принципов данного языка (типа согласования субъекта с глаголом). Различаются (47, с.80-97) три фундаментальных типа функций:

1. Ядерные (core) — выражают агентивность, субъектность, объектность и т.п. в рамках элементарного предложения-составляющей (clause).

2. Косвенные (*oblique*), типа придаточных дополнительных.
3. Внешние (*external*) — создают впечатление внеположенности базисной структуре предложения-составляющей, наиболее существенны в качестве прагматической функции. Например, топик как указание на соотношенность части предложения с целым дискурсом.

5.3. Функция как “использование” (*use*) и “употребление” (*usage*) языка

Как мы увидим далее, неформальным синонимом термина “функция” является в филологии и в философии языка термин “употребление”. В англоязычной литературе различаются *use* (далее переводим как “использование”) и *usage* (“употребление”), особенно тематизированные в трудах по “философии обыденного языка” (“оксфордской школы”), где предполагалось, что исследование употребления слов открывает картину сущности вещей, а потому важно было установить, предопределяется ли использование слова его употреблением или наоборот.

Исследователи второй половины XIX в. уже были в известном смысле функционалистами, когда говорили о влиянии употребления языка на его структуру. Так, Уитни в 1868 г. писал: “Характер языка не детерминируется правилами грамматиков и лексикографов, а употреблением (узусом – *usage*) общества, голосом и мнением говорящих и слушающих. Особенно естественно и эффективно это бывает, когда происходит неосознанно” (347, с.474). По Г. Паулю (1880), “Подлинной причиной изменения узуса является не что иное, как обычная речевая деятельность. Эта деятельность исключает всякое преднамеренное воздействие на узус... То обстоятельство, что речевая деятельность приводит к сдвигам в узусе ненамеренно, соответствующим образом вытекает из факта, что узус не полностью подчиняет себе речевую деятельность, оставляя всегда некоторый простор индивидуальной свободе” (27, с.53).

Конкретные факторы влияния узуса на грамматику выделял И. Ф. Буслаев, который в 1881 г. писал: “Употребление действует на язык двояко: благотельно, по обычаю сохраняя в нем древнейшие формы, как следы некогда действовавшего в нем закона”, и “разрушительно, вытесняя прежние формы, а вместе с тем ослабляя и силу тех законов, на которых они основаны... В обширном смысле употребление языка распространяется на все его местные наречия; в тесном смысле оно ограничивается речью книжной” (8, с.27).

Индивидуальное употребление языка (*Sprachgebrauch*) называют часто стилем, отличая его от общепринятого употребления (339, с.15-16). Это общее, по К. Фосслеру, “не что иное, как приблизительная сумма по возможности всех или, по меньшей мере, важнейших индивидуальных употреблений языка. Индивидуальное употребление, в той мере, в какой оно является конвенцией, т.е. правилом, описывается синтаксисом. В той же мере, в какой оно является творением индивида, рассматривается стилистикой”. Грамматическая неправильность – “нарушение языкового узуса. Грамматика кодифицирует узус; там, где он колеблется, пытается его укрепить” (340, с.2). Причем “тривиальный оборот речи в определенных контекстах тоже может звучать в высшей степени действенно и своеобразно” (339, с.15). При описании идут от индивидуального (от стилистики) к общепринятому (к синтаксису). Итак: все элементы языка являются стилистическими средствами выражения. Синтаксические и вообще языковые правила – “грубые, неточные понятия, полученные в результате эмпирических, позитивистских и поверхностных наблюдений, не выдерживающие критики со стороны строго идеалистического критического языкознания” (339, с.39).

Выбор выразительных средств, стиль сообщения и т.п. часто относят к сфере индивидуального намерения. Однако этот выбор всегда дает ключ к пониманию выражений: то, как нам нечто сообщается, тоже есть информация, иногда даже более значимая для слушающего, чем объектное содержание (156, с.203). Социально нормированы не только собственно языковые средства, но и все, что зависит от социального окружения индивида, от его образования и отражает степень формальности речи в конкретных условиях.

Несмотря на индивидуальность, употребление языка, предназначенное для передачи мнений, желаний, намерений, оценок, предпочтений и описаний, представляет деятельность, отражающую социальный и культурный жизненный мир (338, с.9). Приравнивание значения употреблению языка, столь популярное со времен “позднего Виттгенштейна” (351), созвучно прагматическому направлению в языкознании и в философии языка. Носителями языкового значения теперь становятся не сами выражения, а речевые действия.

Сопоставление языковых отношений между элементами предложений как носителями значения, реконструируемые в логико-синтаксическом аспекте, с одной стороны, и обстоятельствами и свойствами речевых действий, с другой, актуализируется с особенной глубиной в теории речевых актов у Дж. Остина и Дж. Р. Серля. Привязка этого соотнесения к интенциональному (у П. Грайса (153) и к конвенциональному (у Д. Льюиса (231) явилось дальнейшим развитием все того же подхода. Можно сказать, что употребление языка и цель этого употребления – достижение понимания людей, — становятся главными составляющими этой теории.

Употребление, по Л. Ельмслеву (185, с.76), – то, что в речи стабильно. Это множество межуровневых “коннексий” – связей (или “когезий”, в смысле “Пролегомен” (12), эффективно реализованных. Комбинации, являющиеся вариантами межуровневых связей, принадлежат речи, а не употреблению и составляют остаток от речи, из которой вычеркнуто употребление. Этот остаток называют языковым, или семиотическим, актом.

В феноменологической концепции Х. Ортеги-и-Гассета (264, с.14) использованием (*uso*, по-испански также означает “обычай”, “обыкновение”) называется “то, что думаем или говорим, поскольку так говорится, то, что делаем, потому что так делается”. Свойства использования таковы (264, с.15):

1. Использование – механическое навязывание, действия, выполняемые под давлением социума. Оно состоит в антиципации “моральных” или физических репрессий, которые будут применены, если мы не подчинимся этому использованию.

2. Использование иррационально, это действия, точное содержание которых (то, что мы по существу делаем, совершая их) для нас непостижимо.

3. Использование – внеиндивидуальная и безличная реальность. Мы реагируем на него как на форму поведения, являющуюся давлением, силой и нашей личности, и любой другой личности, потому что по отношению к ближнему использование таково же, как по отношению к нам.

Следуя “использованию”, мы ведем себя как автоматы, в духе общества и коллективности (264, с.15). Общество, несмотря на то, что является “механизмом”, — своеобразная машина, делающая из нас людей. Использование производит в индивиде следующие три вида действий (264, с.16):

1. Это “линейка”, мерило, следуя которому можно предвидеть поведение даже незнакомых нам индивидов. Поэтому мы “как бы сосуществуем” с теми, кого еще не знаем (ведь по-настоящему сосуществуют только с теми, кого знают хорошо).

2. Осуществляя давление с помощью определенного репертуара действий – идей, норм, техник, — “использование” заставляет индивида жить в духе своего времени, пользуясь наследием предшествующих времен. Человек одновременно представляет и прогресс, и историю, а общество накапливает достижения прошлого.

3. Без такого “использования” (автоматизирующего большую часть поведения человека и приводящего к осуществлению программы почти всего того, что следует сделать) личность не смогла бы концентрироваться на своей собственной жизни, творческой и истинно человеческой, в конкретных направлениях. Общество ставит человека лицом к лицу с его будущим, что позволяет создавать новое, рациональное и более совершенное.

Вообще говоря, “использование” неоднозначно (256, с.93), это: 1) наблюдаемое поведение, т.е. конкретные акты, в которых мы произносим последовательности звуков или записываем символы; 2) характерные способы прибегать к помощи выражений языка, регулируемые конкретными правилами, общими для членов языкового коллектива.

У Л. Витгенштейна использование определялось как “правдоподобный способ употреблять язык”, а смысл слова – как семейство закономерных путей употреблять его (см. об этом (344, с.256). О соотнесении выражения и употребления выражения – соответственно, значения и референции – у Б. Расселла см. (1, с.184).

По Г. Райлу (293, с.48), использование – способ, которым обращаются с чем-либо (в том числе, со словом), а не социологические обобщения. Правила употребления слова *use* разрешают говорить о том, как “использовать” слово, но не конкретное предложение (293, с.51). Вот ход мысли Райла. Повар использует соль, сахар, муку и т.д. для изготовления пирога. Используются (иногда и неправильно) ингредиенты, но не целое, не пирог (293, с.51). Можно попросить человека ответить на вопрос, отдать приказ, рассказать анекдот, используя конкретное слово или словосочетание. Но совсем другое дело, когда мы просим его произнести или написать это конкретное слово или словосочетание, — тогда мы просим не использовать

(вкрапить в свою речь) слово или словосочетание, а только произнести или написать его (293, с.52).

Употребление же, по Райлу – обычай, принятая практика, мода или манера. Употребление может быть местным или всеобщим, устарелым или современным, деревенским или городским, вулгарным или академичным. Выявление использования языка – задача филологическая, а не житейская – в отличие от употребления (293, с.48) (ср. (342, с.96), где это положение оспаривается).

Использование внеположено конкретному языку (131, с.65). Использование слова *table* в английском языке – то же, что использование слова *tavola* в итальянском, “стол” в русском и т.д. Использование связано не со словом языка как таковым, а с выразителем понятия – “концепта”, в нашем примере – понятия “стол”. У слова может быть “использование” только в той степени, в какой языковой коллектив устанавливает его слову и признает в качестве правильного употребления. Итак, использование слов зависит от их правильного употребления. Для концептуального анализа (т.е. анализа использования слова) существенны далеко не все свойства употребления. Так, личные местоимения больше интересуют лексикографа, чем философа языка (131, с.67). В отличие от использования, употребление привязано к конкретному языку: исследуя употребление слова “стол”, мы заняты тем, как конкретное (русское, английское и т.д.) слово применяется (или должно применяться) теми, кто прибегает к его помощи, а не теми, кто в своей речи применяет иное именование, скажем, *tavola* (131, с.65).

Обычное использование слова может отличаться от философского (292), ср. (247, с.123), вопрос только в чем. Б. Мейтс полагал, что у “обычного” использования много различных смыслов, зависящих от методов верифицирования высказываний, в которые выражение входит (247, с.130). В философии языка есть два подхода к проверке того, что данный человек использует слово именно данным образом: экстенциональный и интенциональный. Результат обоих для описания обыденного употребления всегда одинаков, поэтому реальная процедура обычно их комбинирует. При первом сначала собирают достаточно большой корпус использований слова, на основании чего и выводят значения слова. При интенциональном же подходе обращаются к информанту, спрашивая, какой смысл вкладывает он в данное слово и как он использует его, попутно пользуясь сократовской майевтической процедурой; предъявляют контрпримеры и пограничные случаи, наблюдают, как информант выходит из этих затруднительных положений; результатом бывает определение или пояснение (247, с.125).

Дж. Остин (50) считал, что использование языка и использование предложения обладают тремя “измерениями”, — теми же, что и вообще речевые акты. А именно, в формулировке работы (135, с.30) мы обычно делаем сразу три вещи: 1) произносим нечто; 2) указываем, как мы хотели бы, чтобы слушающий воспринимал сказанное; 3) достигаем определенных эффектов в слушающем в результате речи. Соответственно, в остиновских терминах, имеем: локуцию, иллюкуцию и перлокуцию. Эта линия продолжена и у Я. Хинтикки (37, с.246), приравнивающего использование языка речевому акту.

Адекватность теории использования языка, по (62, с.82), зависит от того, каким способом характеризуется знание языка, т.е. от грамматики. Эту теорию нельзя построить непосредственно, можно только опираться на теории компетенции, на алгоритмы, на их имплементации и на соответствия между этими уровнями объяснения. Поскольку значение выражения – результат взаимодействия собеседников и постоянно модифицируется по ходу общения, т.е. по ходу использования языка, “теория использования”, по (107, с.95), может претендовать не на точное объяснение и предсказание результатов интерпретации речи в конкретной ситуации, а только на то, чтобы указывать степень вероятности той или иной интерпретации.

При этом (83, с.70) использование языка человеком не всегда в первую очередь информативно (в реальности или только в намерении говорящего): язык используется как для информирования, так и для того, чтобы ввести в заблуждение, как для пояснения мыслей, так и для демонстрации остроумия или как игра. Вряд ли человек обладает заранее определенным “речевым репертуаром”, — набором высказываний, произносимых по привычке в уместных обстоятельствах, или готовым набором структур высказываний (*patterns*), заполняемых нужными морфемами только по мере необходимости (последнее справедливо скорее в отношении клише) (83, с.118).

Действительное, а не идеализированное использование языка, по (123, с.72), связано с тремя характеристиками семантических систем конкретного говорящего:

1. Слои конвенциональности, представленные в языке, поскольку (254) есть не только конвенциональность, или произвольность, в соотношении элементарных знаков к значению, но и конвенциональность в соотношении контекстов с теми значениями, которые в рамках этих контекстов могут быть переданы. Есть и взаимозависимость между контекстами и конкретными выражениями, с помощью которых передаются конвенционализованные значения в этих контекстах.

2. Механизмы вмешательства контекста и фона в построение значений высказываний при конкретном использовании их.

3. “Структурные формулы” – выражения языка, подчиняющиеся и правилам грамматики, и намерениям говорящего. Это застывшие выражения, обладающие своей лексикой и грамматикой, а также конвенционально закрепленной просодией.

6. Функция и дисфункция

Как и в биологии, языковая функция предполагает возможность дисфункции. Особенно широко эта метафора эксплуатировалась в концепции А. Гардинера (139, с.141). Факту языка слову-форме (word-form) – соответствует акт речи – “слово-функция” (word-function), взятый как синоним для “исполнения” (performance; этот термин позже широко использовался в теории Н. Хомского в противопоставлении к competence). Эта функция указывает на целенаправленность и на результаты, достигаемые по ходу акта речи. Цель говорящего – привлечь внимание к чему-либо. Слова играют роль воздействующей силы, предназначенной представить вещь, которую имеют в виду (thing-meant), как обладающую определенным формальным свойством.

Слово-функция может быть конгруэнтной или неконгруэнтной слову-форме (139, с.142). Первый случай – когда слово употребляется с целью представить вещь, которую имеет в виду говорящий, формально и в том ключе, в котором, по замыслу говорящего, слушающий должен ее “увидеть”. Конгруэнтность гарантируется (в некоторой ситуации) учетом формы всех других слов в предложении (139, с.143). Например, предлог предполагает последующее существительное; если это ожидание не оправдывается, функция неконгруэнтна форме — иначе же бывает достаточно только упомянуть форму употребляемого слова. “Функция” предполагает, более того, особую значимость роли слова в предложении, задаваемой в грамматике сферой действий для каждого слова-формы (139, с.145). Кроме того, функция – в противоположность дисфункции – полностью видна только в высказывании (245, с.188- 189).

К конгруэнтным функциям относятся: роль существительного как определяемого и как знака для объектов (вещей), роль прилагательного как определения, обозначающего качества, роль фонемы внутри слога (например, такая роль гласного влияет на степень его открытости) и т.д. (24, с.29).

Причиной дисфункции в речи чаще всего бывает конфликт двух языковых форм, приводящий к неконгруэнтности. Неконгруэнтность имеется, например, в выражении the then king “тогдашний король” (букв. “тогда-король”) (139, с.160-161). По-английски это сочетание менее обычно, чем the good king “добрый король”, но все-таки допустимо. Слово-форма then “тогда” указывает на одно направление развития речи, а синтаксическая форма – на другое.

Неконгруэнтность ощущается либо в отживающих, либо в недавно появившихся употреблениях, что порождает ощущение неправильно сказанного, напряженности, неестественности. Итак, неконгруэнтная функция – правильный, но необычный способ подать выражение, часто выбираемый, когда затруднено употребление других альтернатив. К неконгруэнтности тесно примыкают метафора и ошибка (139, с.164). В результате неконгруэнтности функций и развивается язык: отдельные акты речи постепенно подталкивают старую форму в новом направлении, и тем устраняют неконгруэнтность (139, с.163).

Итак, дисфункция связана с нарушением ожиданий интерпретатора речи, а нормальное функционирование – с подтвержденностью их.

7. Полифункционализм языка: суперпозиции и иерархии функций; функциональная насыщенность текста

Уже давно отмечалось, что необходимо “изучать как те формы языка, где преобладает исключительно одна функция, так и те, в которых переплетаются различные функции; в

исследованиях последнего рода основной проблемой является установление различной значимости функций в каждом данном случае” (35, с.25).

Дж. Беркли в 1710 г. писал: “... сообщение идей, обозначаемых словами, не составляет, как это обыкновенно предполагается, главной и единой цели языка. Существуют другие его цели, как, например, вызов какой-либо страсти, возбуждение к действию или отклонение от него, приведение души в некоторое частное состояние, — цели, по отношению к которым вышеназванная цель во многих случаях носит характер чисто служебный или даже вовсе отсутствует, если указанные цели могут быть достигнуты без ее помощи, как это случается нередко, я полагаю, при обычном употреблении языка” (4, с.166).

“Функция данного предметного содержания в замкнутом единстве индивидуальной психической жизни”, т.е. “пережитость или переживаемость всякого внепсихического содержания”, позволили В. Н. Волошинову говорить о том, что мы можем назвать суперпозицией функций – “что” и “как” переживания (10, с.39).

Именно этого взгляда придерживался и Н. Хомский (84, с.229), который рассуждает следующим образом. Обычно к функции языка относят коммуникацию как главную цель, — только она, как предполагают, проясняет природу языка. Но что же такое “главная цель”? Что можно назвать, скажем, коммуникацией в отсутствие аудитории? Когда аудитория безответна, лишена права голоса? Когда у вас нет никакого намерения передавать информацию или изменить мнение или установку по отношению к чему-либо? Итак, либо термин “коммуникация” не столь прозрачен, как кажется, либо же коммуникация – не главная функция языка (84, с.230). Все-таки более правдоподобен взгляд “позднего Л. Витгенштейна”, полагавшего (351), что язык обладает многими функциями, но основная – умозаключение (ср. 207, с.71). Иначе говоря, именно эта функция лежит внутри всех суперпозиций.

Именно суперпозицию имел в виду и Р. Якобсон, писавший: “Вряд ли есть речевые сообщения, выполняющие только одну функцию. Разнообразие заключено не в монополии какой-либо одной из этих функций, а в различном иерархическом порядке функций. Речевая структура сообщения зависит, в первую очередь, от главенствующей функции” (202, с.66) (имеется в виду функция, главенствующая в конкретном эпизоде речи).

Кроме суперпозиции (наложения) функций есть и иерархия их. Различаются иерархия функций языка вообще и функций элементов в системе языка. Пример первой дает Ш. Балли, второй – Е. Курьлович.

Ш. Балли полагал: “Первоочередная функция языка заключается в том, чтобы обеспечивать индивидуумам группы возможность общаться друг с другом. Чтобы узнать, отвечает ли язык и в какой степени требованиям общения, нужно эти требования определить; мы резюмируем их намеренно жесткой формулой, которая в контексте с фактами приобретает большую гибкость: язык служит потребностям общения в том случае, если он позволяет передавать мысль с максимумом точности и минимумом усилий для говорящего и слушающего” (2, с.392). И далее: “Легко понять, однако, что такое упрощение не обходится без серьезного ущерба для выражения оттенков индивидуальной мысли и что, в частности, такая стандартизация стесняет эмоциональные движения. Вообще можно допустить, что потребности общения противоположны потребностям выражения; однако для доказательства этого недостает еще подробных исследований” (2, с.393- 394).

Е. Курьлович различал первичную функцию (или значимость – *valeur*) и вторичные функции (24, с.19). Например, первичная функция мужского рода – “общее” личное значение, поскольку “именно мужской род употребляется там, где пол не различается” (24, с.103). Причем “первичная функция не имеет ничего общего с этимологическим значением формы. Эта функция связана со значимостью формы, определяемой в системе и независимой от семантического окружения” (24, с.103). Поэтому: “можно говорить о первичной функции аккузатива в роли прямого дополнения и о ряде вторичных функций: аккузатив цели (др.-инд. *paḡaḡam daschati* “идет в город”, лат. *Romam ire* “идти в Рим”), протяженности, цены и т.д. Условия употребления аккузатива во вторичной функции всегда могут быть определены. Условия эти – контекст, но не в каком-то неопределенном смысле: это прежде всего семантическое содержание глагола, от которого зависит падежная форма. Окончание аккузатива как бы приспосабливается к глаголу, проникаясь его специальным значением. Первичную функцию, напротив, так определить не удастся. Пользуясь терминологией Бюлера, она “обусловлена в системе” (*systembedingt*), в то время как вторичные функции “обусловлены в поле” (*feldbedingt*)” (24, с.184).

С помощью лексем (обладающих интенциональными потенциалами значения) или их комбинаций в рамках конкретной “языковой игры” (в витгенштейновском смысле) совершается референция к вполне определенным предметам или изображаются конкретные десигнаты предикатов. Потенциалы каждой лексемы одновременно и гибки, и ограничены (251, с.73): с одной стороны, они предопределяют референцию к множеству разнообразных предметов и изображение целого спектра десигнатов предметов, а с другой — явно ограничивают набор объектов, допустимых в качестве референтов и/или десигнатов предикации. Именно поэтому значения слов взаимообусловлены в контексте, так что из выбора слов “высвечивается” тематическая структура текста (251, с.77).

Из сказанного вырисовывается следующая картина. Текст обладает функциональной насыщенностью (251, с.33) в той степени, в какой:

1. Каждая часть текста делает явный вклад в свою иллокуционную функцию (как и в теории речевых актов, под иллокуцией понимается тип намерений, осуществляемых с помощью высказывания): насыщенность соответствует степени связанности (непрерывности) текста. Вкрапления чужеродного материала приводят к уменьшению понятности, к нарушению правил разумного общения, а потому и к меньшей функциональной насыщенности.

2. Почти все элементы текста (любой величины – слова, члены предложения, целые предложения, группы предложения и т.д.) обладают функцией, указывающей на индивидуально-ситуативный контекст, выводящий за рамки отдельно взятого предложения. Такая функция может быть результатом суперпозиции – композиции других функций.

3. Далеко не всегда одной части текста приписана одна функция. Каждая часть текста обладает функциями на различных уровнях иерархии и смысла: у предложения может быть, скажем, одна функция по отношению к соседним с ним предложениям, а другая – по отношению к более крупному единству, в которое входит и которому подчинено. Предложение может, например, играть некоторую роль в развитии темы (направлять ход повествования), обладать аргументативным статусом и выполнять стилистико-эстетическую функцию.

Соответственно, различаются насыщенное и ненасыщенное употребления языка (313). Одни и те же свойства языка эксплуатируются самыми разными говорящими, но для некоторых из них наиболее характерны одни, а не другие свойства. Например, страстный обмен мнениями (с соответствующими просодией, синтаксисом и лексикой) по поводу технических моментов футбола в принципе возможен в любой компании, однако в наибольшей степени он типичен для мужской компании, да и то не всякой (314, с.9), а только в той, где такое употребление считается “насыщенным”.

8. Некоторые наиболее часто упоминаемые функции языка

Ниже мы перечислим в алфавитном порядке и кратко охарактеризуем функции, наиболее часто упоминаемые в литературе, при этом мы не претендуем на полноту и исчерпанность. Это позволит нам изложить материал в следующем разделе. В скобках при этом мы ставим, где необходимо, термин на языке оригинала.

8.1. Апеллятивная функция (appellative function): выполняется, например, формами обращения (316, с.163); основана на том, что “получатель” доступен отправителю в качестве адресата, а потому имеется возможность обратной связи с этим адресатом, что вызывает необходимость в учете (отправителем) фоновых знаний своего адресата (257, с.58).

8.2. Аргументационная функция (argumentative function): по (330), у аргументации имеется шесть разных функций: данные, вывод (содержание утверждения), обоснование, предварительные соображения, квалификация аргументации и условия, при которых допускаются исключения (rebuttal). Большая часть этих функций в реальном аргументирующем тексте обычно отсутствует (111, с.197), поэтому в рамках описания дискурса следует скорее говорить: а) о данных, б) об утверждении и привязанном к нему в) квалификация, а также г) об аргументативных функциях как семантических отношениях внутри текста, служащих цели доказательства или аргументирования, а именно: условие, импликация, каузальность, диагноз, уступка, целеполагание, следствие, сопоставление, поправка, контраст. Именно последними и

ограничивается П. Майер в своем определении (251, с.104): аргументативные функции – функции языковых выражений в тексте, указывающие на аргументативный статус конкретного фрагмента текста. Они составляют базовый уровень интерпретации для остальных иллюкативных функций, оперирующих в тексте, указывая на аргументативный статус презентации положения дел в тексте. Неудачно реализованные аргументативные функции могут помешать отстаиванию точки зрения, иногда даже скомпрометировать сам тезис.

8.3 Аффективная функция (affective function): обычно то же, что эмотивная функция, в противопоставлении когнитивной функции. (208, с.139): все мировоззрения, будучи чувственно воспринимаемыми, покоятся на аффекциях, а понятия – на функциях. Однако метафоры служат как когнитивной, так и аффективной функциям (68, с.8), поскольку в силу своей расплывчатости вызывают эмоции, а не только представления.

8.4 Вокативная функция (vocative function): функция имен, используемых при привлечении внимания человека, к которому обращаются (236, с.217); одна из базисных семиотических функций. Различие между референтным и вокативным употреблением имен и званий во многих языках систематизировано как различие между терминами референции и терминами адресования; например, в падежных системах неиндоевропейских языков.

8.5. Вторичная функция (secondary function; fonction secondaire): по (21, с.31) — “принадлежность формы к определенному классу (категории) определяется первичной функцией. Французские глаголы avoir и être являются глаголами, хотя и употребляются при определенных условиях как синсемантические элементы (il a dormi “он спал”, il est venu “он пришел”, il est jeune “он молодой”). В крайнем случае можно выделить специальный класс вспомогательных слов с двойной функцией, причем вторичная функция – это функция синсемантем. Исходя из аналогичной идеи, мы выделим особый класс конкретных падежей, занимающих промежуточное положение между наречиями (первичная функция) и грамматическими падежами (вторичная функция)”.

Кроме того: “Конкретные падежи также имеют первичные и вторичные функции. Первичная их функция – наречное употребление; однако от наречий их отличает наличие вторичной функции, которая состоит в том, что падежное окончание, лишённое семантического значения, становится простым синтаксическим показателем. Это происходит в тех случаях, когда конкретный падеж употребляется глаголом со специальным значением. Достаточно обратиться к синтаксису любого индоевропейского языка, чтобы убедиться в том, что все конкретные падежи – и инструменталь, и аблатив, и локатив – могут после определенных глаголов становиться грамматическими”. И далее: “Если грамматический падеж более централен, чем конкретный, то и конкретный падеж, употребленный во вторичной (синтаксической) функции, более централен, чем конкретный падеж в первичной (наречной) функции. Например, в *potiri civitate armis* “захватить город силой” (букв. “оружием”) первый (управляемый) аблатив *civitate* более централен, чем второй (свободный) аблатив *armis*, имеющий инструментальное значение; отсюда (*potiri civitate*) *armis*. И, наконец, грамматический падеж, употребленный во вторичной (наречной) функции, периферийнее, чем тот же самый падеж в первичной функции, например: *Dies circiter XV (iter fecerunt)* “Они проделали путь приблизительно за пятнадцать дней”. Грамматикализация падежной формы сообщает ей центральное положение среди определяющих глагола; адвербиализация падежа, напротив, отбрасывает его на периферию глагольной группы” (22, с.188). Позже Курылович пришел к следующему выводу: “Значения или формы имеют первичную функцию в тех случаях, в которых максимально различаются, вторичную же там, где разница между ними частично исчезает” (23, с.248-249).

В работе 1961 г. разграничение проводится по линии “более широкая – более узкая зона употребления” (218, с.7). В истории языка обычен случай, когда вторичная функция приобретает формальную независимость.

8.6. Выраженная функция (expressed function) = манифестированная (manifest function): по (337, с.9) выраженность в собственном смысле слова сопровождается семиотическими средствами, функционирующие для прямого и, как правило, интенционального выражения эмотивности. Выраженная, или манифестированная функция в социологической концепции Мертона (298, с.11) является единственным предметом исследования; этой установке противостоит

герменевтика Гадамера, в которой, как и в романтической герменевтике, ставится цель выявить даже невыраженные функции, заложенные только в замысле автора текста, – при попытке понять автора лучше, чем он сам себя понимал.

8.7. Грамматическая функция (grammatical function): Дж. Катц (209, с.113) различал три типа функций у членов предложения: грамматическую (подлежащее, сказуемое и т.п.), риторическую (данное – новое, топик – комментарий и т.п.) и семантическую (агенса, средство, результат и т.п.). В модифицированной падежной грамматике позже Ч. Филлмор (122, с.60-61) предложил переформулировать эти отношения в терминах “перспективы” предложения. Каждый глагол, идентифицирующий определенный аспект события, описываемого в предложении, навязывает определенную перспективу рассмотрения ситуации. Проявлением такого выбора точки зрения как раз и является выбор грамматических функций, соответствующих подлежащим и объектам исходной структуры предложения (122, с.72-74). Так, если я хочу занять точку зрения продавца, я выберу глагол “продавать”, а заняв точку зрения покупателя, я использую глагол “потратить” и т.д.

Близкий подход был позже принят на вооружение в модели “управления и связывания” Н. Хомского (85), одним из главных компонентов является теория тематических ролей – тетаролей. Каждый глагол задает каждому своему семантическому аргументу некоторую тета-роль в соответствии с данными лексикона. На самом глубинном синтаксическом уровне (в D-структуре) поэтому прямо отражаются все грамматические функции, см. также (134, с.140). Используются грамматические функции и в “грамматике лексических функций” Дж. Брезнан (69, с.375) для объяснения анафорических отношений (критику см. (296, с.457)). (Сопоставление этих двух подходов – Н. Хомского и Дж. Брезнан – см. (350, с.639-669). Эти и подобные подходы предназначены объяснить, почему предложения типа “give John the book” звучит естественно, а “return John the book” – нет (272, с.52). Если воспользоваться “театрально-ролевой” коннотацией термина “функция”, можем сказать, что естественно звучат предложения, в которых параметры роли действующих лиц в конкретном предложении соответствуют амплу исполнителей.

8.8. Дейктическая функция (deictic function): ею обладают, в частности, указательные местоимения и наречия в так называемых “практических ситуациях”, локализованных в конкретном пространстве и времени (235, с.61). Согласно (236, с.664), местоимения в огромном большинстве случаев употребляются именно в чисто дейктической функции, например: “Что ЭТО у тебя в руке?”, когда нет смысла говорить о результате прономинализации как грамматического процесса замены одной из кореферентных составляющих на местоимение. Большой интерес представляет для грамматистов случай нечисто дейктической функции, когда, например (6, с.7), категория лица глаголов и местоимений как грамматический центр личности полифункциональна и выполняет, среди прочего, “собственно семантическую дейктическую функцию соотношения участников обозначаемой ситуации с участниками речевого акта (соотношения как пересечения или непересечения)”.

8.9. Десигнативная функция (designational function; Bezeichnungsfunktion): в “Энциклопедии” Гегеля, как показывает (190, с.399-400), имеется в виду именно эта функция, суть которой – то, что дух приписывает внешнее и одновременно идеальное существование тем представлениям, которые сам же выводит из образов своего мировоззрения.

8.10. Динамическая функция (dynamic function): по (130, с.158), индивид создает динамические функции в языке и в логике. Эти личностные функции динамичны в силу того, что, будучи связанными, они создают изменения, предопределяют путь познания личностью мира.

8.11. Дискурсивная функция (discourse function; discursive function): функция, нацеленная на уместное употребление предложения в дискурсе (244, с.15). Такую задачу решает, например, стратегическое расположение “тем” в предложении (215, с.326) (впрочем, когда считают темой первую составляющую предложения (165), лишают понятие темы такого функционального заряда). В терминах коммуникативного динамизма (128) можно сказать, что тема является элементом с минимальной дискурсивной функцией (у Фирбаса: с наименьшей

степенью коммуникативного динамизма), т.е. оказывающей наименьшее влияние на развитие дискурса.

В “функциональном синтаксисе” С. Куно выделяются четыре дискурсные функции в предложении (214): тема, контраст, исчерпывающее перечисление, нейтральное описание. Иногда (67, с.59) нейтральное описание (предложение, не опирающееся на предшествующий дискурс при выполнении своей функции) противопоставляют остальным.

Согласно (188, с.703), главные части речи – имя существительное и глагол – являются универсальными лексикализациями таких прототипичных дискурсных функций, как “дискурсно-управляемый партиципant” (discourse-manipulable participant) и “сообщаемое событие” (reported event). Граматики языков обычно относят к этим категориям единицы с морфосинтаксическими показателями, в зависимости от того, насколько они близки к своей прототипической функции.

8.12. Дискурсно-прагматическая функция (discourse pragmatic function): три больших группы таких функций выделяются по отношению к порядку слов (268, с.309):

- статус, приписываемый информации;
- очень маркированные операции изменения отношений;
- членение дискурса.

Различные языки по-разному упорядочивают свой дискурс в этом отношении. Неудачи в упорядочении дискурсно-прагматических функций, несмотря на полную правильность в языковом отношении, вызывают замечания информантов, типа: “Я это понял, но мы так не говорим” (268, с.310).

Дискурсно-прагматические функции используются для установления референтов используемых имен и словосочетаний. При интерпретации дискурса обычно номинальная интерпретация предложения, без домысливания, возможна без переосмысления пресуппозиций для предшествующих предложений; этот случай аналогичен тому, когда употребление определенного артикля интерпретируют как референцию говорящего к старой информации. Однако некоторые такие интерпретации опираются не на семантические пресуппозиции, а на дискурсные функции; например, когда мы относим референт, упоминаемый говорящим, к определенному классу (118, с.164).

8.13. Знаковая функция (sign function): в глоссематике (12, с.306) имеет место между выражением и содержанием знака и характеризуется как “солидарность” (12, с.307). По Гадамеру (138, с.159), “символ” обладает знаковой функцией, если указывает на социальную или религиозную соотнесенность разных людей; причем этот символ тогда является не просто знаком, он не только указывает на такую соотнесенность, но даже может ее конституировать. Иногда термин “знаковая функция” употребляется как синоним терминов “репрезентация” и “семиологическая функция” (32, с.239). Как указывает Н. Д. Арутюнова, “в языке могут быть выделены монофункциональные знаки, осуществляющие либо только идентифицирующую (имена собственные, действительные слова), либо только предикатную функцию (нереферентные слова), и бифункциональные знаки, способные играть любую из этих ролей. Семантика этих последних приспособлена и к тому, чтобы называть, и к тому, чтобы обозначать” (1, с.329).

8.14. Идеационная функция (ideational function): обладая этой функцией (166, с.143), язык служит выражению “содержания” – т.е., опыта человека (носителя языка) в реальном мире, включая сюда внутренний мир его собственного сознания. Эту идеационную функцию можно переопределить и в поведенческих, и в чисто понятийных терминах. Выполняя эту функцию, язык одновременно структурирует опыт и помогает определять свой взгляд на вещи (ср. также (78, с.27-28). Синонимы для названия этой же функции: репрезентационная, когнитивная, семантическая, фактически-понятийная и экспериенциальная (166, с.146). Примером идеационной функции является транзитивность (166, с.148).

8.15. Иконическая функция (iconic function): по (43, с.9), фонологические правила, помимо фонетической функции, имеют еще и иконическую (304, с.111): создают дистрибутивную репрезентацию парадигматических отношений, определяющих множество фонем. В итоге парадигма предстает в диаграмматическом виде, что и называется иконической функцией правил. То же можно сказать и о других видах правил.

8.16. Иллокутивная функция (illocutionary function): функция, выполняемая высказыванием как некоторым типом речевого акта – как иллокутивным актом, например, (74, с.277). В отличие от перлокутивной функции, ориентированной на внешние последствия речевого акта, иллокутивная функция нацелена на внутренние последствия (265, с.123). Согласно (227, с.104), можно выделить четыре типа иллокутивных функций, в зависимости от того, как они связаны с социальной целью установления и поддержания равных отношений между людьми:

- конкуренция, когда иллокутивная цель конкурирует с социальной целью, например: приказ, вопрос, просьба;
- совпадение, когда иллокутивная цель совпадает с социальной ролью, например: предложение, приглашение, приветствие, благодарение, поздравление;
- сотрудничество, когда иллокутивная цель безразлична по отношению к социальной цели, например: утверждение, сообщение, объявление, инструкция;
- конфликт, когда иллокутивная цель находится в конфликте с социальной целью, например: угроза, обвинение, проклятие, упрек.

Из них первые две существенно связаны с вежливостью.

Согласно (251, с.102), иллокутивная функция в тексте – то, что отвечает на вопрос “How to do things with texts” (как добиваться своих целей с помощью текстов). С помощью таких функций уже воспринятые фрагменты текста переинтерпретируются. Выделяются (251, с.104) три крупных класса иллокутивных функций в тексте: семантико-топиковые, каузальные и аргументативные.

В отличие от интерактивных функций, иллокутивные можно перифразировать с помощью перформативного глагола (288, с.11). Различаются инициативная (нацеленная на то, чтобы вызвать реакцию у собеседника) и реактивная иллокутивные функции (288, с.25), каждая со своими условиями совместной встречаемости (253, с.136-146). Каждое достижение договоренности (négociation) состоит из трех фаз: инициатива говорящего, реакция собеседника и оценивающее действие говорящего. Каждая такая фаза называется интервенцией. Иллокутивной функцией тогда можно назвать то, что связывает между собой эти интервенции (287, с.189-190).

8.17. Имагинативная функция (imaginative function): по (168, с.17), функция создания “как бы”, когда действительность как бы (вос)создается, а не зеркально (как было бы в случае репрезентационной функции) отражается.

8.18. Индексальная функция (indexical function): по (311, с.175), функция, противопоставленная целевой функции языка. Аналитически задаваемые индексальные функции общи для фрагментов языковой формы, являясь индексами для некоторых элементов, выделяемых в контекстных параметрах.

8.19. Инструментальная функция (instrumental function) языка обычно (236, с.130) – базисная, примитивная функция высказываний (у бихевиористов – функция специального типа стимулов, 'mands' (312)), позволяющая говорящему сделать так, чтобы кто-либо сделал нечто для него. В системной грамматике Халлидея инструментальная функция, или “функция типа “Я хочу”” – употребление языка для удовлетворения материальных нужд. По (14, с.228): “Общность единиц речи и мысли состоит в том, что они имеют единую дискретную основу, обеспечиваемую языком. [...] дискретные операции языка осуществляются на едином материале – “внешнем мире”, или мире действительности, что приводит к тому, что у единиц мысли и у единиц речи оказывается одно и то же содержание. Но далее включается функциональное различие мысли и языка. Соответственно с этим происходит и дифференциация “инструментальных функций знака”, которых, следовательно, оказывается две [...] одна “инструментальная функция знака” заключается в том, что он является средством познания, а другая – в том, что он является средством общения. Эти функциональные различия знака приводят к тому, что в обоих указанных видах его применения используется разный синтаксис и разная синтаксическая “техника”. В первом случае (знак – средство познания) мы имеем дело с единой общечеловеческой физиологической и психологической основой, в результате чего синтаксис мышления стоит над национальными разграничениями. Но он, разумеется, имеет различные индивидуальные градации в отношении своего совершенства, обусловленные степенью культурности, профессией, личной одаренностью. Во втором случае (знак – средство

общения) приходится подчиняться кодексу строгих правил, условно принимаемых в целях обеспечения всеобщей удобопонимаемости”. Итак, существуют две инструментальные функции языка: когнитивная и коммуникативная.

8.20. Интеракциональная функция (*interactional function; interactive function*): по (168, с.17), в отличие от регулятивной функции “делай, как я тебе говорю”, интеракциональная функция – функция типа “я и ты” (включая – в детском общении – “я и мама”). При устном рассказе интеракциональная и коммуникативная функции разграничиваются (278, с.290) (хотя при этом не отрицается, что общение, или коммуникация, является разновидностью интеракции (276, 277). А именно, интерактивные функции реализуются посредством формы рассказа как одной из множества форм презентации положения вещей. По (288, с.27), в отличие от иллюкативных функций, интерактивные не могут перифразироваться с помощью перформативного глагола; так, ср. “justifier” (приводить доводы) и “vérifier” (верифицировать), с одной стороны, и “remercier” (выражать благодарность) и “informer” (сообщать), с другой.

8.21. Категориальная функция (*categorical function; categorization function; category function*): Л. Ельмслев в поздней своей работе (184, с.92) писал, что типология языков исследует, как функционируют категории в разных языках, т.е., занимается категориальными функциями.

Когнитивная лингвистика предполагает, что мир не отражен в языке объективно: у языка есть функция категоризации, или категориальная функция (*categorization function*), навязывающая миру некоторую структуру, а не просто отражающая “объективную реальность” (140, с.8). А именно, язык есть способ организации знаний, отражающий потребности, интересы и опыт индивидов и культур. Исследование категориальной функции лексикона издавна привлекает большее внимание, чем аналогичная функция грамматических конструкций, поскольку ее легче исследовать (140, с.8). В наибольшей степени на этой последней проблеме сконцентрировано внимание когнитивной грамматики Р. Лангаккера, а также “конструкционная грамматика” Ч. Филлмора (125), см. также (145). Категоризирующая функция языковых единиц исследуется под тремя углами зрения (140, с.9-10):

— внутренняя структура категорий, взятых каждая отдельно, главным образом, в терминах теории прототипов (326) (библиографический обзор см. (237);

— более крупные концептные структуры, комбинирующие несколько отдельных категорий в связную ментальную модель. Это исследование проводится в разных направлениях; особенно распространено рассмотрение метафор (327), а именно, анализируются “обобщенные метафоры” ср. работы (221), (222), (323), а также в фреймовой семантике (124). В культурологических исследованиях рамки рассмотрение расширяются, и предлагаются “культурные” модели типа (94), (212), которые часто имеют динамический характер; например, динамической является концепция ментальных пространств (119), описывающая, как ментальные модели – “временные конструкты” – строятся по ходу дискурсу;

— отношения между формой и значением исследуются с точки зрения общего направления мотивации, скажем, формы иконичности; так, на языковые формы смотрят как на более или менее прямые реализации передаваемого сообщения (161).

8.22. Когнитивная функция (*cognitive function; Erkenntnisfunktion, kognitive Funktion; fonction cognitive*): или точнее, “когнитивные функции” – общее название для совокупности процессов и способностей внимания, восприятия, усвоения, сохранения и вспоминания знаний, а также формирования понятий и мышления (306, с.134).

Еще Э. Гуссерль в “Логических исследованиях” различал символическую и когнитивную функции значения (*symbolische Funktion der Bedeutung und ihre Erkenntnisfunktion*) (192, с.32), причем проникновение в суть значения он связывал именно с когнитивной функцией (там же, с.46). Под когнитивной лингвистикой понимают сегодня исследование языка в его когнитивной функции, где “когнитивность” относится к главенствующей роли промежуточных информационных структур (бытующих в нашей ментальности), когда мы сталкиваемся с миром. Фокус внимания когнитивной лингвистики, в отличие от когнитивной психологии, находится на языке как средстве организации, обработки и передачи этой информации, как хранилище знаний о мире, как структурированном собрании значимых категорий, позволяющих нам обрабатывать новые впечатления и хранить информацию о старых (140, с.8; ср. также 18). В психологическом смысле когнитивная функция состоит в том, чтобы “обозначать словами (или знаками) не

только вещи воспринимаемого мира, фиксируя их в памяти, но и результаты мышления, которые связываются при помощи названий в единое целое” (16, с.13).

Когнитивной функцией обладают как речь в целом, так и ее фрагменты. Эта функция обладает объединяющим, интегрирующим началом при интерпретации дискурса. Так, когнитивная функция повествования (narrative) – не в том, чтобы просто как-нибудь соотнести события, изложенные в некоторой последовательности, а в том, чтобы (252, с.198) представить все такие соотношения как единое целое, обладающее когерентностью и приносящее эстетическое и эмоциональное удовлетворение; в историческом же повествовании ко всему добавляется требование правдивости.

Обладает когнитивной функцией и словообразование в силу того, что в результате расширяется словарь и человек способен шире освоить когнитивную действительность (108, с.99).

Особенный интерес вызвали и вызывают когнитивные функции другого средства расширения словаря – метафоры. Как показывается в работе (211, с.11), традиционное мнение таково, что когнитивная функция метафоры – в выражении аналогии, а потому метафора всего лишь риторична и орнаментальна. В конце XX в. это положение оспаривается. А именно, считают, что некоторые метафоры сводимы к буквальному анализу и не обладают никакой когнитивной функцией, кроме риторической, однако есть и такие, которые нельзя свести к буквальному употреблению и обладают когнитивной функцией.

Причем метафоры обладают не только когнитивными, но и аффективными функциями: первыми, поскольку объясняют нечто само по себе неясное, а вторыми – поскольку вызывают эмоции (68, с.8). При этом, по (113, с.66), в точных науках, также как в философии, политике и обыденной жизни, нет существенной разницы в когнитивном аспекте между буквальными и метафорическими утверждениями. Метафора организует явления перед тем, как их исследовать, и предоставляет человеку словарный запас, с помощью которого такое исследование далее и осуществляется (113, с.70). Метафора обладает и другой когнитивной функцией – она вводит новый способ организации объектов, когда под одну рубрику подводит объекты, обладающие ярлыками с разными буквальными смыслами (147, с.126-127), и тем расширяет наш понятийный репертуар. Так, она расширяет наш запас предикатов для классификации объектов исследуемой области.

8.23. Коммуникативная функция (communicative function): функция языка в общении. Этот термин употреблялся задолго до К. Бюлера (73). Так, у Гуссерля встречаем: “Выражения в коммуникативной функции действуют как “улики” (Anzeichen) (192, с.35).

Иногда термин “коммуникативная функция” употребляется как синоним для “реально переданного сообщения”, “conveyed meaning” (148), в противопоставлении значению, обычно передаваемому данной языковой формой (см. (149, с.193). Эта функция ориентация на другого человека, является “непосредственной действительностью текстов” (286, с.271). Разумеется, коммуникативные функции характеризуют достижение понимания в целом (Verständigung), а не одну сторону продуцирование речи (345, с.101).

Коммуникативная функция предложения охватывает совокупность всех коммуникативных свойств предложения, существенных для текстообразования и не сводимых к семантическим, лексическим, синтаксическим и морфонологическим структурам (195, с.58). А именно, сюда относятся: структура намерения, указания и презумпции, увязанные между собой в соответствии с канонами связанности (195, с.99-101), социальный статус и даже (352, с.439-447) пол общающихся сторон (см. также (353). Коммуникативная дисфункция (malfunction) может, в частности, быть результатом неравного социального статуса коммуникантов (239, с.302).

Одна из разновидностей коммуникативных функций связана с выражениями, не занимающими магистральную линию в общении (concomitant expression phenomena) (180, с.327) — со всякими охами и вздохами. Еще Дарвин (96) отметил роль таких функций в эволюции человека. В эволюции языка возможно и такое изменение, называемое ритуализацией (163, с.5), когда речевое действие, имевшее вспомогательную коммуникативную функцию, “эмансипируется” и получает самостоятельный статус.

Коммуникативная функция заставляет рассматривать языковую форму не как статичный объект, а как динамичные средства выражения (71, с.24). Набор таких принципов динамики, посредством которых язык адаптируется к коммуникативным функциям в употреблении языка, называется разговорной риторикой (226, с.415). С помощью этих стратегий

коммуникативные функции реализуются через посредство конкретных содержаний повествования (278, с.290); имеются функции, в первую очередь ориентированные на говорящего (самопрезентация и психическая / коммуникативная разрядка), на слушающего (развлечение и увеселение, с одной стороны, и информирование — с другой), и на контекст (довод и разъяснение). А цель “контрастивной прагматики” – сопоставить коммуникативные функции в разных языках и выяснить, как одни и те же функции реализованы в разных языках (114, с.38). В этой связи выдвигают (162, с.19) “гипотезу об изоморфизме”: различия формы всегда связаны с различными коммуникативными функциями, а сходства – со сходством коммуникативных функций. Другая гипотеза соотносит типологию маркированности с коммуникативностью: типологическая маркированность языковых структур коррелирует с природой коммуникативных функций, которым эта маркированность служит (157, с.297).

На коммуникативной функции (а не только на поэтической функции), на использовании слов для передачи информации основана, по (55), и литературная традиция. Это вызывает иллюзию, будто язык может быть “автономным” (210), будто слова могут нести значение сами по себе и что в этом-то и состоит их первичная функция. В реальности (325, с.214) язык никогда не бывает ни целиком автономным, ни полностью коммуникативным. Точнее было бы говорить о том, что язык обладает относительным весом в пользу той или иной идеализации. Сложившееся в языкознании противопоставление формальных грамматик “коммуникативным” вряд ли поэтому вечно, поскольку (150, с.5) “формальный” подход не исключает коммуникативного. В принципе возможна формализованная теория, описывающая язык в терминах его коммуникативных функций (297, с.55).

Коммуникативная функция тесно связана с другими функциями языка:

– с экспрессивной: “Обычно, особенно в живом разговоре оба момента – момент коммуникативный и момент экспрессивный – тесно переплетаются. Основой конкретных высказываний, однако ...является в первую очередь коммуникация, и если экспрессивное выражение несколько и разрастается, то все же оно не может быть не (sic!) чем иным, как формой, выросшей на базе коммуникативной функции” (25, с.447);

– с функцией номинации (333, с.197) и с процессами композиции текста (334, с.156). Эта функция выявляется получателем в результате стратегий интерпретации (335, с.88-89);

– с грамматическими и семантическими функциями; так, по (72, с.79), коммуникативная функция модальных глаголов особенно тесно переплетена с целью речевых действий.

В частности, в соответствии с тремя базисными коммуникативными функциями можно выделить три типа фокусировки в предложении (224, с.336):

– предикаторному свойству данного топика – предикатный топик, в функции структуры “топик-комментарий”,

– идентификация аргумента данной пропозиции – аргументный фокус, идентификационная функция;

– введение нового дискурсного референта или сообщение о событии – фокусировка предложения, то есть презентационная функция, или функция сообщения о событии.

8.24. Конативная функция (conative function) = прескриптивная функция = предписательная функция (prescriptive function): по (61, с.23) присутствует, например, у нормативного дискурса; эта функция является проявлением власти слова над поведением других людей (61, с.28]; такая власть подается как легитимная и авторизованная, но может маскироваться под выражение мнения (например, подаваться как констатирующее высказывание).

8.25. Контрастная функция (contrast function): (251, с.105): одна из семантико-топиковых функций; с ее помощью содержания различных фрагментов речи противопоставляются, чтобы сделать более ясным иллюкутивное намерение. К средствам контрастирования в рамках тематической структуры дискурса относятся антонимия и многочисленные синтаксические средства. Контрастная функция подчинена принципу антитетичности речи. Виды контрастной функции (251, с.106-110):

1) сравнение предметов и предикатных десигнатов; две возможности, которые, сочетаясь между собой, дают все разнообразие контраста в реальных дискурсах:

– равенство – сходство – несходство;

– субстанция – количество – качество;

2) противопоставление сходного содержания целых текстов;

- 3) когда сопоставляются целые несходные содержания;
- 4) эмфатическая координативная конструкция, связанная с ожиданием (оправданным или нет) фоновых знаний у адресата; если ожидание не оправдалось, используются средства для “подправления” предшествующего дискурса, отказ от первоначального утверждения или полный отказ от своих высказываний.

8.26. Культурно-общественная функция, по (9, с.13): “С точки зрения социальных расслоений и культурно-общественных функций литературный язык представляет сложную систему взаимодействия между устной и письменной речью, с одной стороны, и между профессионально жаргонными типами и письменными жанрами, с другой стороны. Пестрота смешения языковых форм в литературной речи усложняется еще примесью этнодиалектических различий. Кроме того, литературный язык – не только орудие социального взаимодействия, но и форма индивидуально-творческих взаимодействий. Отсюда тесная его связь с языком литературных произведений, при посредстве которых входят в его систему индивидуальные новообразования семантического (особенно в области фразеологии) и синтаксического порядка. Нередко индивидуально-художественные речевые построения определяют нормы последующего развития литературно-книжной речи (например, язык Пушкина, Тургенева и т.п.)”.

8.27. Латентная функция (latent function): т.е. не выраженная функция (298, с.11), та, которую герменевты стремятся выявить, чтобы понять автора лучше его самого.

8.28. Лексическая функция (lexical function): по (129, с.26-27), роль, играемая теми или иными элементами плана выражения в идентификации слова как лексической единицы. Понятие, имеющее специальное значение в модели “смысл – текст” (26), ср. также (51) и в “грамматике лексических функций” Дж. Брезнан (70), см. также (59) может только косвенно быть названо функцией собственно языка.

8.29. Личностная функция (personal function): по (168, с.17), функция выражения идентичности “Я” говорящего, развиваемая в детском возрасте в результате речевого взаимодействия; возможно, совпадает с функцией типа “вот я иду”.

8.30. Макрофункция (macrofunction): по (168, с.98), взрослый человек, в отличие от ребенка, обычно использует язык одновременно в нескольких разных направлениях и целях. Описать все такие “сложные функции” нет возможности: проще говорить о букете функций, разложимых на составляющие их элементарные, и выделить сравнительно небольшое число наиболее обычных “макрофункций”, связав их с потенциалом значения у реальных языковых структур. Ср. также “суперфункция”.

8.31. Межличностная функция (interpersonal function). В силу межличностной функции (interpersonal function) (166, с.143) язык позволяет устанавливать и поддерживать социальные отношения: для выражения социальных ролей, включающих правила сообщения – коммуникация – создаваемые самим языком. Например, роли спрашивающего и отвечающего, которые мы берем на себя, когда задаем вопрос. Этим решаются задачи общения. Посредством этой “межличностной” функции выделяются социальные группы, а индивид идентифицируется и утверждается в своем статусе, поскольку общение с себе подобными служит выражению и развитию индивида как личности. (В этом Халлидей следует Б. Бернстайну (60, с.63).)

8.32. Метакоммуникативная функция (metacommunicative function): в самом широком смысле стратегии, связанные с устной традицией, делают упор на совместном знании и на межличностном отношении между коммуникатором и аудиторией. В этом они строятся на том, что Г. Бейтсон (55) называет метакоммуникативной функцией языка при использовании слов для сообщения об отношениях между собеседниками. Литературная традиция, по Бейтсону, строится на коммуникативной функции языка: на использовании слов для сообщения информации или содержания. Это приводит к возникновению идеализации – представлению, что язык может быть “автономным” (210) – что слова могут нести значение сами по себе и что в этом-то и состоит их первичная функция. Д. Таннен возражает обоим подходам: язык никогда

не бывает ни целиком автономным, ни полностью метакоммуникативным. Точнее было бы говорить о том, что язык обладает относительным весом в пользу той или иной идеализации – отсюда и континуум между устным и литературным (325, с.213-214).

8.33. Металингвистическая функция (*fonction métalinguistique*): по (152, с.72-73), в силу принципа эквивалентности, одна и та же вещь может быть презентирована (*présenté*) проще и сложнее, пространнее или короче. Развернутость высказывания заключена в самой природе нормально функционирующего дискурса (изложить кратко, сдержанно, пространно, с излишними деталями, сухо и т.п.). Это развертывание дискурса и характеризует металингвистическое функционирование.

8.34. Метапоэтическая функция (*metapoetic function*): по (126, с.6), этой функцией обладают высказывания о системе правил и соглашений, регулирующих продуцирование и восприятие литературных текстов или речевых актов, а также о самом процессе создания литературного произведения. Такой “метапроцесс” (126, с.168-169) является не “зеркалом текста”, а дискурсом, адресованным определенной аудитории: как агрессивное выступление перед читателями, как педагогический комментарий, как самозащита автора и т.п., даже как “охранная грамота” в советском литературном пространстве, когда стремились сохранить поэтические стандарты и гарантировать при этом публикацию, а также ориентировались на одних людей и исключали из числа потенциальных адресатов других.

8.35. Метафункция (*metafunction*): общее название для таких сущностей, как метакоммуникативная, метапоэтическая, металингвистическая и т.п. Реальный дискурс можно, в рамках функциональной “системной грамматики” М. Халлидея (174, с.xiv), проанализировать под углом зрения того, какую метафункцию – т.е., функцию в рамках целого текста (а не только локальную функцию – в данном эпизоде речи), играют те или иные единицы языка. По (109, с.755), метафункция в языке предполагает референцию к объекту, являющемуся одновременно языковым и остраненно (“иронично”) соотношенным с самим знаком. В метафорическом употреблении выражения эта метафункция обычно отсутствует, но она есть в метаметафорическом употреблении, когда метафора отнесено к фигуральному положению вещей (при первичной интерпретации) и к буквальному положению вещей (при вторичной интерпретации); например: “Посмотри на эту книгу в другом свете!” (когда одновременно предлагают зажечь более яркую лампу – и переоценить содержание книги). Именно в рамках метаметафоры – метафоры, которой приписана метафункция, – и можно говорить об игре буквального и переносного смыслов.

8.36. Морфологическая функция (*morphological function*): по (129, с.27), функция, приписываемая сегментам слова, интерпретируемым как выражающие некоторую морфологическую категорию.

8.37. Нарративная функция (*narrative function*): в типовом рассказе от третьего лица взаимодействуют две нарративные функции (324, с.61): одна принадлежит рассказчику, ответственному за дискурс, а другая – персонажу, глазами которого автор смотрит на развивающиеся в мире события.

8.38. Номинативная функция = функция номинации (*nomination function*): по (31, с.340-341), поскольку “функция номинации и классификации выполняется алфавитно-предметными каталогами и патентными классификациями, т.е. искусственными языками с парадигматикой, но без сколько-нибудь развитой синтагматики и вообще грамматики. Уже одно это заставляет искать формальный аппарат номинативной функции языка в лексической парадигматике, т.е. в упорядоченных классах слов. Кроме того, в последнее время было установлено, что и в высказывании номинативная функция допускает моделирование отдельно от других его функций. Напротив, предикация и основанная на ней функция сообщения моделируются в искусственных языках с развитым синтагматическим аппаратом, парадигматика же при этом может быть совсем не детализированной”.

8.39. Объективирующая функция (objectivizing function): по (217, с.1), связана с актом мышления словами. Говорящий одновременно играет и роль неперменного “свидетеля” (bystander) локуционного акта. Эта функция основана на объектной функции (217, с.9).

8.40. Объектная функция (objective function), по (217, с.1), самая главная функция языка, на которой основаны коммуникативная и объективирующая функции: именно благодаря ей возможны повествования даже в некоммуникативном окружении (217, с.10).

8.41. Ограничительная функция; рестриктивная функция (restriktive funktion): (251, с.105): одна из семантико-топиковых функций; с ее помощью положения вещей соотносятся между собой таким образом, что ограничивается или область действия одного описания, или сфера действия предиката. Тематическая структура дискурса тогда проявляется как объединение всех элементов содержания. Ограничительные функции – результат того, что не каждому предмету соответствует имя во всех возможных мирах, отражающее все нюансы свойств, присущих процессам и состояниям (251, с.121).

8.42. Оценочная функция (evaluative function): по (28, с.68-69), “при осмыслении речи необходимо не только понять замысел говорящего, оценить этот замысел с точки зрения его содержания и авторского мнения и намерения, но и оценить направленность этого замысла, его полезность. Это использование человеком оценочной функции речи”.

8.43. Первичная функция (primary function), или главная функция, является в концепции Е. Курыловича (23, с.250) главной задачей лингвистического объяснения; все вторичные функции должны быть процедурно выводимыми из главного. Зона первичной функции включает в себя как подчасть вторичные функции (218, с.7). Принадлежность формы к определенному классу (категории) определяется первичной функцией: “Французские глаголы avoir и être являются глаголами, хотя и употребляются при определенных условиях как синсемантические элементы (il a dormi “он спал”, il est venu “он пришел”, il est jeune “он молодой”). В крайнем случае можно выделить специальный класс вспомогательных слов с двойной функцией, причем вторичная функция – это функция синсемантем. Исходя из аналогичной идеи, мы выделим особый класс конкретных падежей, занимающих промежуточное положение между наречиями (первичная функция) и грамматическими падежами (вторичная функция)” (21, с.31).

Аналогичное справедливо для синтаксиса: “Первичные синтаксические функции вытекают из лексических значений частей речи и представляют собой своего рода транспозицию этих значений. Мы употребляем термин “деривация” в широком смысле слова, понимая под деривацией не только факт образования одних слов от других с целью передачи синтаксических функций, отличных от синтаксических функций исходных слов, но также и тот факт, что одно и то же слово может выступать в разных вторичных синтаксических значениях, будучи в отмеченном синтаксическом окружении. (...) Синтаксический дериват – это форма с тем же лексическим содержанием, что и у исходной формы, но с другой синтаксической функцией; она обладает синтаксической морфемой (“Feldzeichen” у (73, с.35)” (19, с.61-62). Применено это положение было Курыловичем в первую очередь к теории падежа: “Конкретные падежи также имеют первичные и вторичные функции. Первичная их функция – наречное употребление; однако от наречий их отличает наличие вторичной функции, которая состоит в том, что падежное окончание, лишенное семантического значения, становится простым синтаксическим показателем. Это происходит в тех случаях, когда конкретный падеж употребляется глаголом со специальным значением. Достаточно обратиться к синтаксису любого индоевропейского языка, чтобы убедиться в том, что все конкретные падежи – и инструменталь, и аблатив, и локатив – могут после определенных глаголов становиться грамматическими” (22, с.185).

8.44. Перифрастико-эксplikативная функция (paraphrastisch-explikative Funktion) позволяет передать сложные содержания следующим образом: отправитель делает несколько “заходов” подряд, не обязательно завершенных, но по-разному, с разных сторон подхода к реализации своего коммуникативного замысла (251, с.105). Развитие тематической структуры текста при этом выглядит очень специфически: каждая последующая попытка представляет собой своеобразное перифразированное истолкование неудачных, абортированных

предшествующих попыток (251, с.113). В результате тематическое членение не остается в первоизданном виде. Основные процедуры, сопровождающие такие попытки: парафраз, пояснение, резюмирование и уточнение (251, с.120).

8.45. Перлокутивная функция (perlocutionary function; perlokutionäre Funktion) высказывания, по (265, с.123), дает значение высказывания в аспекте внешнего последствия этого высказывания (иллокутивная же функция дает только внутренние следствия), то, что изменится в ситуации в результате данного высказывания как действия. Дж. Остин и Дж. Серль считали при этом перлокутивные функции интенциональными, а не конвенциональными (301, с.46). Э. Вайганд понимает под перлокутивной функцией ту функцию, которой обладает реагирующий (“реактивный”) речевой акт (345, с.13); поскольку такой акт можно считать конвенциональным, то и перлокутивная функция должна квалифицироваться как конвенциональная: это конвенциональное последствие некоторого иллокутивного речевого акта.

8.46. Перформативная функция; функция перформации (performative function): “моделирование особых языков только для целей предписания (типа знаков уличного движения), а также открытие таких речевых актов, которые являются одновременным фактом языка и социальным действием говорящего (например, КЛЯНУСЬ!; ОБЕЩАЮ!), заставило выделить особую функцию перформации и связать ее с категорией первого лица (“я”) и категорией настоящего времени” (31, с.340-341).

8.47. Поэтическая функция (poetic function): по (202, с.69), – установка (Einstellung) на само сообщение ради него самого. Эта функция не сводима к поэзии, также — как и поэзия не основана исключительно на поэтической функции. Поэтическая функция, делающая более ощутимым знаки (promoting the palpability of signs), углубляет фундаментальную дихотомию знаков и предметов (202, с.70) и может руководить осознанными и полуосознанными действиями говорящего, продуцирующего речь (117, с.41).

Эффективность поэтической функции предполагает глубокое и интимное понимание читателем всех недомолвок и намеков автора (115, с.139-140). Это “кооперирование” адресата протекает параллельно структурированию текста автором. Вообще деятельность читателя можно считать продолжением поэтической функции, ее можно назвать реконструирующей поэтической функцией, в противоположность авторской конструирующей поэтической функции.

Потенциальное свойство языкового выражения – поэтичность – не всегда реализуется интерпретатором и – по параметру отрешенности от обыденного языка – сродни метафоричности, также не всегда “оцениваемой” читателем. По (194, с.4). Метафора тоже обладает поэтической функцией, являясь, по (283, с.311), дискурсной стратегией, посредством которой язык освобождается от необходимости прямого описания, а эвристическая функция приобретает все большую свободу). Обладает своеобразной поэтической функцией и перебранка (248, с.210-211).

Критики якобсоновского взгляда, согласно которому поэтическая функция рядоположена остальным функциям, отмечают:

1. Поэзия связана с организацией текстов, а остальные функции коренятся во внешних контекстах и оперируют формами, принадлежащими к языковому коду: такими, как использование предикатных форм в референтной функции, восклицаний в эмотивной функции, терминов адресации – в аппеллятивной функции (316, с.163). Поэзия может, конечно, распоряжаться ресурсами языка, но это функция речи, “parole”, хотя в некоторых поэтических традициях и создавались специальные поэтические языки (были даже поэтические гильдии Ирландии и Исландии) или искусственные диалекты – как язык Гомера, – чтобы отдалить свои произведения от практической прозы. Однако такие искусственные языки вовсе не обязательны для построения литературных текстов.

2. Трудность еще и в том, что (39, с.30-31):

- поэтическая функция не является достаточной предпосылкой поэзии,
- доминирование поэтической функции нельзя логически безупречно вывести из формальной организации высказывания;
- поэтическая функция определяется как отсутствие прагматической функции, а в то же время, она должна решать коммуникативно-когнитивные задачи;

– определение поэтической функции одновременно связано с эмансипацией сообщения от (прагматико-функционального!) смысла, а с другой стороны, для анализа того, как получена форма, необходима интерпретация смысла;

– “установка на сообщение” как особенная организация этого сообщения делает этот тип употребления языка аномальным.

8.48. Прагматическая функция (pragmatic function): нет единого по поводу определения этого часто употребляемого понятия. Среди типичных характеристик упомянем прагматические функции:

– зависят главным образом от прагматической информации о говорящем и адресате (102, с.27),

– указывают информационный статус членов предикации в рамках более широкого коммуникативного окружения, в котором они содержатся (101, с.49);

– представляют прагматические цели и результаты (эффекты) высказывания, в абстракции от реального говорящего и слушающего, а взятые как если бы это были функции самого акта высказывания, презюмирования и т.п. (274, с.18);

– включают факторы, влияющие на выбор говорящим одного выражения, а не другого. Именно такие факторы, а не семантика и не референция, приводят к тому, что употребляются основы аориста, а не презенса (305, с.5).

В работе С. Стати (319, с.31-33) прагматическим функциям приписывается следующий набор свойств, который вместе с перечисленными уже свойствами образуют довольно ясную картину:

– рефлексивность: говорящий должен так формулировать свое сообщение, чтобы получатель мог вычленив прагматическую функцию, цель высказывания. Отсюда вытекает, что обман и манипулирование с помощью языка не входят в прагматические функции, поскольку говорящий не хочет, чтобы его замысел разгадали;

– объективность: доступность в принципе любому получателю, разумеется, если тот владеет языком и находится в здравом рассудке;

– обязательность: ведь нет высказываний без прагматической функции;

– отделенность от фразического содержания.

К прагматическим функциям в рамках функциональной грамматики С. Дика относятся, среди прочего, тема и 'остальное' (tail), топик и фокус. Первые два являются внешними по отношению к собственно предикации и маркируют вынесенные влево (тема) или вправо (остальное) элементы предложения; а последние два – внутренними; соответственно, внешние и внутренние прагматические функции (101, с.66).

Более широкий список прагматических функций, покрывающий отчасти и другие функции (синтаксические и семантические), предложен в работе (47, с.77): фактически все, что Чейф отнес к ведению упаковочных элементов предложения (78).

Иногда термин “прагматическая функция” употребляется как синоним термина “иллокутивная функция”; именно в этом смысле говорят о лексикализации прагматических функций: это случай клиширования иллокутивной функции; так (258, с.675-676), английское “Sorry!” хранится в лексиконе как клише со значением “I apologize” “Я сожалею”.

Прагматический бум 1980-1990-х годов является рецидивом увлечения идеи прагматики (возможно, под другим названием), которое гуманитарные науки пережили в 1930-е годы. Так, Б. Малиновски в 1937 г. писал: “Если самой ранней и наиболее фундаментальной функцией речи является прагматическая функция – направлять, контролировать и соотносить деятельность людей между собой, то изучать речь можно только в “контексте ситуации”. А от разграничения языка и речи, за которое держатся такие авторы, как Бюлер и Гардинер, и восходящее еще к де Соссюру и к Вегенеру, придется отказаться” (242, с.63).

В рамках трехмерной концепции языка Ю. С. Степанов определяет прагматическую функцию как “акт общения, прежде всего направленного от индивида к другим индивидам и к обществу в целом, установление говорящим своего отношения к действительности, выражается в языковых знаках любой протяженности и устройства: в междометиях (...), в назывных предложениях, в особенности такого типа, который непосредственно связан с ситуацией, как вывески и объявления: “Ремонт часов”; “злая собака”; “Высокое напряжение”; в перформативных высказываниях: “Клянусь!”, “Обещаю!” и в выделенной Б. Малиновским более частной, “фатической” функции, когда говорящие говорят что угодно, лишь бы завязать или поддержать общение (phatic communion)” (31, с.342).

И далее: “Первичный формальный аппарат прагматической функции – это аппарат локации; он состоит из индексирующих знаков, которые могут быть определены только непосредственно в их отношении к протекающему акту речи. В индоевропейских языках это элементы Я – ЗДЕСЬ – СЕЙЧАС. [...] Все эти три основных словесных знака могут быть заменены в своей первичной функции простым указанием – жестом. При этом Я и ЗДЕСЬ передаются жестом, указывающим на говорящего и на место рядом с ним, а СЕЙЧАС может быть сведено к жесту, обозначающему место. [...] Однако в некоторых из неиндоевропейских языков этот аппарат представлен еще и другими категориями. К нему следует отнести категорию “отчуждаемой – неотчуждаемой принадлежности” (...) по другой терминологии, “органической – неорганической принадлежности”). Эта категория разбивает имена на два класса, типичным представителем класса “неотчуждаемой принадлежности” выступают обычно части тела, другие же классы могут варьироваться от языка к языку” (31, с.344).

8.49. Пропозициональная функция (propositional function): понятие, использовавшееся под этим названием еще в (289, с.42) в современном значении, в философии языка Б. Расселла определялось как выражение, содержащее один или несколько недоопределенных компонентов и становящееся пропозицией, как только эти недоопределенные компоненты будут определены (290, с.230). Когда говорят о существовании или несуществовании чего-либо, имеют в виду именно свойство пропозициональной функции (290, с.232-233).

Сходное определение дает в 1962 г. и Э. Бенвенист (3, с.142) (в сноске), когда определяет предложение как предельную единицу языка: “Сегментировать предложение мы можем, но мы не можем сделать его интегратором какой-либо другой единицы более высокого уровня. Пропозициональной функции, в какую можно было бы подставить предложение, не существует. Следовательно, предложение не может быть интегрантом для единиц других типов. Это объясняется прежде всего той особенностью, которая присуща только предложению и отличает его от всех других единиц, то есть предикативностью. Все другие свойства предложения являются вторичными по отношению к этой особенности. Число знаков, входящих в предложение, не играет никакой роли: одного знака достаточно, чтобы выразить предикативность” (3, с.446). Наконец, Ю. С. Степанов полагает: “Функтором пропозициональной функции служит та языковая форма предикации, которая называется структурной схемой предложения. Следовательно, в языке столько разновидностей пропозициональной функции, сколько структурных схем предложения – как простого, так и сложного” (30, с.70).

Часто в формальном аппарате для описания языка пропозициональные функции используются под названием “семантическая функция”.

8.50. Регуляторная, или регулятивная функция (regulatory function): это функция типа “сделай, как я тебе говорю” (168, с.7), то есть функция контролирования поведения других людей с помощью языка (168, с.17).

8.51. Репрезентационная функция (representational function; Repräsentationsfunktion (275, с.102); Darstellungsfunktion). По Гадамеру (138, с.158), символ, как и картина, не указывает на что-то, если это “что-то” одновременно с ним не присутствует. Репрезентационная функция символа – не простое указание на нечто отсутствующее в настоящий момент. Символ высвечивает нечто как наличное, что всегда в принципе налично. Это видно уже из этимологии слова “символ”.

Основное положение тагмемики К. Л. Пайка: язык – неотъемлемая часть человеческого поведения, и аксиомы языка относятся к любому человеческому поведению. Кроме символической функции, язык обладает репрезентационной функцией и очень важной коммуникативной функцией (206, с.78).

В рамках системной грамматики М. Халлидея (168, с.17) эта репрезентационная функция характеризуется как функция “мне надо кое-что тебе сказать”, то есть, функция передачи содержания.

В работе (275, с.102) репрезентационная функция определяется как отношение между формативом конкретной коммуникативной (коммуникативной) языковой единицы в коммуникативном акте, с одной стороны, и вполне конкретным предметом (или положением дел) – или с конкретным множеством предметов (или положений дел), с другой стороны. Эта

функция позволяет говорящему совершать референцию к конкретным предметам, а слушающим идентифицировать именно этот предмет.

Согласно (99, с.25-27), системы репрезентации обладают следующими функциями:

- сохранение информации, способной к постепенному исчезновению или к которой у нас нет непосредственного доступа;
- наглядность актуальной, но не непосредственно воспринимаемой информации;
- ориентация, регулирование действий индивида;
- систематизация;
- сигнализирование, связанное с коммуникацией.

8.52. Референтная, или референциальная функция (*referential function*), в противопоставлении вокативной функции имен и званий реализуется в терминах референции (противопоставляемых терминам адресования) (236, с.217). В референтной функции употребляются не только имена, но и предикаты, особенно в поэзии (316, с.163) (вот почему можно сказать, что поэтическая функция может осуществляться при поддержке референтной). Референциальная функция элементов текста покоится на их понятности (257, с.58).

8.53. Риторическая функция (*rhetorical function*): в ранней концепции Дж. Катц (209, с.113) различал три типа функций у членов предложения: грамматическую (подлежащее, сказуемое и т.п.), риторическую (данное – новое, топик – комментарий и т.п.) и семантическую (агенса, средство, результат и т.п.), полагая позже, что грамматические и риторические функции необоснованно смешаны в расширенной стандартной генеративной модели Н. Хомского (82, ср. также: 122, с.60-61). В сферу риторической функции входят и так называемые “риторические предикаты” в смысле (89) типа “утверждать”, “приводить доводы”, “делать заключение” и используемые для интерпретации, но не продуцирования предложений (249, с.38).

8.54. Семантическая функция (*semantic function*): термин, неформально употреблявшийся еще структуралистами со значением “смыслоразличительность”. Например, Д. Джоунз полагал, что фонемы обладают семантической функцией, однако разные звуки – члены одной и той же фонемы – не обладают никакой семантической функцией (205, с.32).

Лондонские структуралисты, приравнивавшие функцию значению (129, с.10) (до них значение как функцию средств выражения определял, например, А. Марти (246); в его употреблении термин “*semantische Funktion*” равносителен термину “значение” (*Bedeutung*)(см. также 213), считали, что можно видеть у некоторого элемента речи морфологическую и синтаксическую функции, но не догадываться о существовании у него семантической функции (129, с.27): семантическая функция выявляется только в той “контекстной ситуации”, когда кого-либо непосредственно стимулируют высказаться о значении выражения. Иначе говоря, в отличие от “младшей” функции (фонетической) и главных функций (лексической и синтаксической), семантическая функция присуща только целому высказыванию (*locution*, ср. терминологию позже у Остина!) или даже скорее типовому контексту ситуации (129, с.33).

Продолжен этот подход в социологии языка Б. Бернстайна, который писал в 1959 г.: “Язык – важнейшее средство инициирования, синтеза и подкрепления способов мышления, чувствования и поведения, функционально соотносенных с социальной группой. Сам по себе язык не тормозит выражение конкретных идей и не ограничивает индивида определенным уровнем концептуализации. Но некоторые идеи и обобщения поощряются языком больше, чем другие. То есть употребление языка облегчает развитие в определенном направлении, в этом отношении различные направления неравноправны” (60, с.63). И далее: “Язык – один из самых важных параметров, включенных в характеристики индивида и поведения. Внедрение той или иной формы языка постоянно стимулируется – с самого первого слова ребенка. Дети понимают еще до того, как сами говорят. Семантической же функцией языка является социальная структура. (...) Изменение способов употребления языка (когда публичный модус заменяется на формальный язык) связано с личностью (*personality*) индивида, с самим характером его общественных отношений, с его точками референции, эмоциональными и логическими, и с самосознанием” (60, с.76).

В рамках формальной лингвистики под семантической функцией часто сегодня понимают аналог пропозициональной функции. Так, в интерпретирующей семантике Р. Джеккендоффа (196, с.14-15) глаголы в глубинной структуре представляются как семантические функции от одной или нескольких переменных. Значениями для этих

переменных бывают именные составляющие, синтаксически связанные с глаголами. (В такой концепции “семантическая функция” соответствует “пропозициональной функции” формальной логики.) В таком представлении при глаголах возможны и вложенные структуры при глаголах и других “функциональных словах”. Например, абстрактный предикат глубинной структуры CHANGE “менять/меняться” (один из семантических примитивов в этой концепции, т.е., не обязательно соответствующий какой-либо реальной единице языка, но входящий в семантическую формулу различных предикатов реальных языков) имеет три аргумента: индивид, начальное состояние, исходное состояние (196, с.39). Предикат CAUSE – также семантический примитив, двухаргументная семантическая функция; ее аргументами являются один индивид и одно событие, а значение – то, что индивид производит (является виновником, “каузирует”) некоторое событие. (Возможно, еще инструментальные именные словосочетания входят в число аргументов этой семантической функции (154).)

Несколько иная, но близкая по духу терминология Дж. Катца (209, с.113), среди семантических функций – аналоге глубинных падежей Ч. Филлмора – называвшего “агент”, “реципиент”, “средство”, “результат” и т.п. (ср. также: 122, с.60-61).

Именно эту терминологическую линию продолжает С. Дик в своей “функциональной грамматике”: по (101, с.49), семантические функции “агент”, “цель”, “реципиент” и т.д. являются ролями, которые выполняют референты соответствующих элементов предложения в рамках состояний дел, описываемых предикацией. Семантические функции кодируются обычно в лексиконе – кроме “сателлитных” семантических функций, вводимых позже в структуру предложения по ходу деривации (101, с.50).

8.55. Семантико-топиковая функция (semantisch-topikale Funktion): по (251, с.104), один из видов иллокутивной функции в тексте и результатом доинтерпретирования синтактико-топиковой функции. К семантико-топиковым функциям относятся: функции контраста, парафрастико-экспликативные функции и рестриктивные функции.

8.56. Семиологическая функция (semiological function): термин, употребляемый иногда как синоним “референтная функция” и “знаковая функция” (32, с.239).

8.57. Семиотическая (semiotic function): функция семиотического акта (236, с.217) – по существу, синоним понятия “функция языка”, при широком понимании термина “язык”. В некоторых концепциях (например, в (47, с.63)), общее название для семантических и прагматических функций как того, что имеет отношение к значению предложения. Эти функции выполняются “внешними кодирующими признаками”, такими как порядок слов, падежная маркировка и грамматическое согласование. Однако трудно бывает указать прямое соответствие между кодирующими признаками и выражаемыми семиотическими функциями. Поэтому прибегают к опосредующему уровню грамматической структуры: кодирующие признаки указывают на грамматическую структуру предложения, которая, в свою очередь, задает семиотические функции.

В метаматематике (а возможно, и в любой теории) есть три вида семиотических функций (57, с.11): обоснования, переноса (в смысле универсальной теории преобразований) и объяснения (в рамках универсальной теории действительности).

8.58. Символическая функция (symbolic function): еще в феноменологии Э. Гуссерля предполагалось, что значение обладает символической функцией и функцией познания (в современных терминах: когнитивной функцией) (192, с.32). Огден и Ричардс выделяют другое измерение в этом противопоставлении, различая две группы функций языка: символическую и эмотивную (263). При этом символическая функция непосредственно связана с мнемоническими эффектами стимула.

Для Леви-Стросса символическая функция обладает властью преобразовывать подсознание (230, с.224), которое представляется как индивидуальный репертуар образов, отличающий данного индивида от остальных; иначе говоря, этот репертуар является одной из реализаций коллективной формы для символической функции (88, с.18). Способность такого преобразования Леви-Стросс называет символической эффективностью, или властью слов. Этому понятию репертуара у Лакана (220) соответствует “воображаемое” как набор “внутренних аксессуаров” индивида, рождающихся в результате личной внутренней истории индивида, а символическая функция производна от ограничения, от фрейдовского “сверх-я”,

навязываемого волей отца, и связывается с функциями репрессии и запрета. Для Лакана символическое – порядок нанизывания означающих (см. также 88, с.95).

8.59. Синтаксическая функция (syntactic function): в концепции Е. Курыловича первичные синтаксические функции (под которым понимаются первичные “грамматические употребления” (19, с.66) “вытекают из лексических значений частей речи и представляют собой своего рода транспозицию этих значений. Мы употребляем термин “деривация” в широком смысле слова, понимая под деривацией не только факт образования одних слов от других с целью передачи синтаксических функций, отличных от синтаксических функций исходных слов, но также и тот факт, что одно и то же слово может выступать в разных вторичных синтаксических значениях, будучи в отмеченном синтаксическом окружении” (19, с.61).

Имеются синтаксические функции у интонации (129, с.27): например, указание на вопросительность или восклицательность высказывания. Синтаксические функции указывают и на угол зрения, под которым мы смотрим на состояние дел, задаваемое предложением; субъект и объект являются такими функциями (101, с.49). Интересно, что речь больных аграмматической афазией страдает неправильным наложением синтаксических функций на тематические роли (300, с.85).

8.60. Стилистическая функция (stylistic function): например, по Куриловичу, пассивная конструкция имеет две различные функции: одну грамматическую, вторую стилистическую. Стилистическую функцию имеет “полная (трехчленная) пассивная конструкция: “солдат был убит врагом”, “пар вспахивается крестьянином”, которая совсем не отличается своим содержанием от соответствующих активных конструкций: “враг убил солдата”, “вспахивают пар”. Эти две конструкции разнятся между собою только стилистическим оттенком. Говорят, например, “Пушкин был убит в поединке Дантесом”, если речь шла о Пушкине, но “Дантес убил Пушкина в поединке”, если речь шла о Дантесе. В первом примере *patiens*, во втором *agens* являются психологическим, а не только грамматическим подлежащим. Но психологическое подлежащее – это уже термин стилистики” (20, с.123). Более того: “Наличие пассивной конструкции в разных языках оправдывается не этой стилистической функцией, а первой, грамматической функцией. Это следует из факта, что могут существовать или обе или только вторая, но никогда не существует только вторая. Это значит, что нет языка, который бы образовал и сохранил страдательный залог исключительно для стилистических целей. Наоборот, есть языки, в которых *passivum* служит только грамматическим целям, например, латынь в своей старшей стадии или классический арабский” (20, с.124).

8.61. Суперфункция (superfunction; фр. *superfonction*): близко понятию “макрофункция”. По (319, с.33), помимо прагматических функций “напоминание” (*appel*), “вопрос”, “утверждение”, “повтор”, “указание” и т.п. есть еще прагматические суперфункции (*superfonctions pragmatiques*): согласие, доказательство и подтверждение, уступка, исправление, несогласие и опротестование, критика и возражение: *accord, justification {et preuve}, concession, rectification, désaccord {et contestation}, critique, objection*.

8.62. Текстовая функция (textual function). (166, с.143): язык предоставляет средства для синтеза свойств ситуации употребления языка. Именно такая текстовая функция позволяет говорящему или пишущему строить тексты, т.е. ситуативно релевантные дискурсы. Эта же функция позволяет слушающему или читающему отличить текст от произвольного набора предложений. Один из аспектов текстовой функции – установление отношений когезии между предложениями дискурса. Так, следующие три предложения различаются выбором в рамках текстовой функции, когда второе предложение содержит каждый раз иной тип информации:

- (1) She would marry Horatio. She loved him.
- (2) She would marry Horatio. It was Horatio she loved.
- (3) She would marry Horatio. She did not love him.

Более того, в работе (166, с.164), утверждается, что согласно текстовой функции языка для эффективного общения необходимо новую информацию подавать грамматически эксплицитно.

По (251, с.95), к текстовым функциям относятся:

– темпоральные функции – указание на реальные и/или фиктивные соотношения между положениями вещей (*Sachverhalte*), задаваемыми текстом;

– каузальные функции (251, с.104), выводимые из причинно-следственных отношений, которые, в свою очередь, являются результатом дополнительной интерпретации темпоральных отношений, “базируясь” на них (251, с.124). Виды каузальных функций включают: обоснование, объяснение и логический вывод.

В работе (116, с.9) различаются внутритекстовые и внетекстовые функции. Первые подаются с помощью структурирования элементов содержания в тексте, вторые же – с помощью отношений между текстом и элементами речевой ситуации.

В рамках текстовой функции выделяются также функции, связанные с жанром или направленностью текста. Например (121, с.29), юмористический текст продуцируется со следующими наиболее частыми намерениями (функциями), очень сходными в английском и немецком обществах:

- чтобы затушевать собственную ошибку;
- чтобы выйти из неловкого положения; за таким текстом лежит успокаивающее “Не беспокойся”;
- чтобы спустить на тормозах речевую агрессию;
- чтобы доставить или получить самому удовольствие;
- чтобы завершить разговор.

Однако техники решения этих задач могут быть очень разными и являются предметом контрастивного анализа.

8.63. Тематическая функция (thematic function): роль элемента “функциональной структуры” в рамках интерпретативной семантики. Этот термин употребляется особенно часто, начиная с концепции интерпретативной семантики Р. Джеккендоффа (196) и включая более поздние концепции Н. Хомского.

8.64. Топиковая функция (topical function; topikale Funktion): функция топикализованной составляющей в предложении (191, с.100-101).

8.65. Фатическая функция (phatic function): термин Б. Малиновского “phatic communion” (241): язык в фатической функции (доминирующей в обыденном общении) – неперменный элемент человеческого действия в рамках социума; в результате поддерживаются и стабилизируются социальные отношения. Ю. С. Степанов считает фатическую функцию разновидностью прагматической функции как акта общения – “когда говорящие говорят что угодно, лишь бы завязать или поддержать общение” (31, с.342). Эту же функцию имеют рассказы в обыденном общении и определенные эпизоды в переводческой деятельности.

Так, Э. Гюлих показала, что функция рассказа не сводится к передаче содержания, а содержит значительную долю фатической ценности (155, с.21), особенно в тематически и содержательно нефункциональных эпизодах общения (155, с.22). Некоторые исследователи (193) считают, что рассказ обладает исключительно фатической функцией. В работе (280, с.270) это демонстрируется на материале детского общения, когда рассказанная сказка является средством для установления мостика между ребенком и рассказчиком. Существен в таких случаях в первую очередь факт рассказа, а не что именно рассказывается. Для таких ситуаций – в отличие от нефатически функционирующего рассказа – не обязательно обоснование – “легитимизация” – рассказа: достаточно объявить о своем намерении рассказать нечто (280, с.273). Ср.: “Вот вы все про рыбу, а я расскажу вам такой случай”. Хотя эта разновидность часто характеризуется как “развлекательная функция”, она еще позволяет рассказчику “самопрезентироваться”: тогда, по (276, с.106), “увеселение” является прежде всего функцией, ориентированной на слушающего, а “самопрезентация” – на самого говорящего. Именно из-за своей фатической функции не все анекдоты и не всегда уместны (280, с.281): некоторые допустимы исключительно в мужской компании, некоторые – только между детьми и т.д. С этим же связано то обстоятельство, что не всегда говорящего лишают права рассказать уже известный анекдот: здесь вмешиваются вопросы этики, такта, вежливости и т.п.

При переводе текста с языка на другой язык фатическая функция, по (257, с.57), покоится на конвенциональности текстовой формы. Если в оригинале указывается, что намерения автора – фатические, переводчику приходится с этим смириться и соответственно переводить текст, проявляя своеобразную “лояльность”. Однако в задачу переводчика входит найти еще соответствующие эквиваленты в языке, на который происходит перевод, что при сильных различиях фатических культур бывает весьма затруднено.

8.66. Фонетическая функция (phonetic function) звука, одна из младших (minor) функций (129, с.32), соответствует месту звука в контексте и в фонетической системе языка (205, с.10). Помимо чисто фонетической функции, фонемы, по (205, с.32-33), обладают семантической функцией, однако разные звуки – члены одной и той же фонемы – не обладают никакой семантической функцией. Иногда разграничивают две функции и у фонологических правил (304, с.110). Так, согласно (43), фонологические правила имеют две функции: фонетическую и иконическую. Фонетическая функция фонологических правил состоит в том, что они переводят фонологическую репрезентацию, заданную в чисто реляционных терминах, в детализированное представление в терминах трех параметров: частота, объем, время, — характеризующих реальный акустический сигнал.

8.67. Фразовая, или фразическая функция (sentence function (139, с.198; fonction phrastique), по (139, с.198), то, что совершает данное предложение в силу свойств в качестве предложения, как таковое. Так, предложение может функционировать как констатация, просьба, вопрос или восклицание. Такая фразовая функция вырабатывает смысл как локализация для условий истинности, в отличие от дискурсивной функции, осуществляющей уместное употребление предложения в дискурсе (244, с.15).

8.68. Целевая функция (purposive function): по (311, с.175), целевые функции переупорядочивают иерархию индексальных функций для носителей языка, позволяя ориентироваться в потоке дискурса.

8.69. Эвристическая функция (heuristic function): по (168, с.17), функция такого употребления языка, когда хотят докопаться до причины, “почему” в реальности все происходит одним, а не другим способом. В результате не надеются докопаться до истинных причин, но получают хотя бы приблизительное представление о причинах.

8.70. Экспозитивная коммуникативная функция (expositional communicative function; Darstellungsfunktion): по (40), разновидность коммуникативной функции текста (не обязательно литературного), относительно независимая от содержания конкретного текста, а скорее относящаяся к нескольким текстам одновременно (например, к нескольким текстам, излагающим одну и ту же проблему).

8.71. Экспрессивная функция (expressive function): по В. Н. Телия, “экспрессивность значимых единиц языка, образующих его инвентарь, тесно связана с прагматикой речи. Экспрессивность представляет собой (в общем случае) отображение в содержании языковых сущностей эмотивного отношения субъекта речи к элементам внешнего или внутреннего мира человека, вызываемого в нем при их обозначении. А экспрессивная функция языковых единиц заключается в их способности выражать такого рода субъективную модальность” (36, с.308). С экспрессивностью связаны следующие виды субъективной модальности:

— положительное или отрицательное чисто эмоциональное (связанное со сферой чувств-переживаний) отношение к обозначаемому (ноченька, солнышко, малюсенький, прудишко, крохотуля);

– квалифкативно-оценочное отношение к обозначаемому, основанное на осознании членами данного языкового коллектива некоторого качественного (квалитативного) или количественного (квантитативного) “стандарта” бытия обозначаемого, отклонение от которого вызывает положительную или отрицательную оценку (“групповщина”, “писанина”, “гордец”, “болтать” или “носиться”, “тащиться”, “уплетать”, “умопомрачительный”);

– социальные реакции на обозначаемое, связанные с установкой говорящих на некоторые нормы употребления средств в определенных условиях речи или стилистических пластах языка, нарушение которых вызывает положительный или отрицательный социально-ролевой эффект (ср. “ввергать”, “низлагать”, “гордыня”, “светоч”, “упоительный”, “нерушимый” и “мямлишь”, “шастать”, “околесица”, “трепач”, “ловчила”).

При различии этих видов субъективной модальности, придающей экспрессивную окраску языковым сущностям, общим для всех них является то, что субъективная модальность как бы наслаивается на объективное содержание языковых единиц” (36, с.308).

Согласно (236, с.583), выбор говорящим элементов, делающих высказывание уместным, происходит на фоне его установки или эмоциональной вовлеченности в содержание его речи. Говорящий может быть ироничным, скептическим, сдержанным, насмешливым, сентиментальным и т.п. На сами установки говорящего могут воздействовать степень формальности и межличностные отношения, однако даже при этом экспрессивная функция выделима из числа остальных. Другие функции, такие как поэтическая, могут обслуживаться экспрессивной функцией, которая может повысить или понизить их эффективность (115, с.140): например, сделать содержание текста интригующим для читателя и придать художественные, эмоциональные и интеллектуальные свойства.

Еще один аспект экспрессивной функции – передача мнения автора (257, с.57): такая сигнализируемая экспрессивная интенция автора обязательно должно передаваться при переводе текстов с одного языка на другой, соответствуя стандартам культуры; неучет ее делает перевод неадекватным. Вот почему ранние переводы произведений Гёте с немецкого языка создают у современного русского читателя впечатление излишней слезливости.

8.72. Эмотивная функция (*emotive function*): одна из двух главных функций языка по (263, с.7) (другая – символическая); прототипичным носителем этой функции считается интонация, “добавляющая тонкий оттенок значению” и таким образом отражающая чувства и установки говорящего (38, с.387). К нефонетическим средствам относятся, например, метафора, поскольку, по (284, с.49), не представляет какую-либо семантическую инновацию и не дает новых сведений о действительности, а также (316, с.163) междометие. Различаются два измерения внутри эмотивной функции речи:

- информативная функция противопоставляется каталитической: эмоции могут стимулировать или облегчать – или наоборот, затруднять и затушевывать когнитивные и другие психические процессы;
- спонтанное проявление эмоций противопоставлено стратегическому их использованию.

8.73. Эстетическая функция (*aesthetic function*): направленность стилистики конкретного текста на достижение того или иного эстетического (в частности, литературного) эффекта (229, с.39).

9. Крупные группировки функций

В литературе выделяются концепции, по-разному членившие все пространство вышеперечисленных функций на классы. Ниже мы дадим обзор теорий по возрастанию количества таких классов. Как мы увидим, чем больше число функций, тем все менее прозрачным становится основание классификации, которое иногда может даже ускользать от читателя. Критической точкой в перерастании количества функций в качество (затемненность основания классификации) является, видимо, “число три”.

9.1. Двухчастное деление

Язык используется и в социальных ситуациях, и для внутренних потребностей в размышлении (294, с.119). В первом случае он позволяет поделиться чувствами с другим, снабдить информацией, повлиять на поведение другого человека. Во втором же мы регулируем свое поведение, решаем задачи, размышляем о прошлом, планируем будущее, категоризируем свое восприятие. Между языком и мыслью существует отношение “взаимоиспользования”, ср.: “Языки используют нас, так же как и мы используем языки. Наш выбор форм выражения направляется мыслями, которые мы хотим выразить. В этой же степени способ нашего восприятия в реальном мире предопределяет, как мы будем выражаться по поводу воспринимаемых предметов” (223, с.45). В силу этого имеем – в различных терминологиях – противопоставление двух функций (259, с.37), (см. также 71, с.1; 76, с.3:1) идеационной (169, с.116) (синонимы: референциальной (202), “дигитальной” (343), транзакционной, репрезентативной, референциальной, дескриптивной), состоящей в презентации и обработке информации об окружении, и 2) межличностной (169, с.116) (синонимы: фатической (202), аналогической (343), интеракционной; примерно то же, что экспрессивная, эмотивная, межличностная, социоэкспрессивная функция), состоящей в передаче информации от коммуниканта к комуниканту. Это различие, по (259, с.37), соответствует

противопоставлению (в духе П. Грайса) конверсационных максим (максим речи) социально значимым максимам. Первая из них служит выражению содержания высказывания, а вторая – нет.

Созвучно это противопоставление тому, которое находим в “Тезисах” Пражского лингвистического кружка (1929), где читаем: “В своей социальной роли речевая деятельность различается в зависимости от связи с внелингвистической реальностью. При этом она имеет либо функцию общения, т.е. направлена к означаемому, либо поэтическую функцию, т.е. направлена к самому знаку”. И далее: “В функции речевой деятельности как средства общения следует различать два центра тяготения: один, при котором язык является “ситуативным языком” (практический язык), т.е. использует дополнительный внелингвистический контекст, и другой, при котором язык стремится образовать наиболее замкнутое целое с тенденцией стать точным и полным, используя слова-термины и фразы-суждения (теоретический язык, или язык формулировок)” (35, с.25).

9.2. Трехчастное деление

Б. Расселл в 1940 г. (291, с.194) говорил о следующих трех целях языка: указание на факты, выражение состояния говорящего, изменение состояния слушающего. Так, междометие “ой”, сопровождаемое поднятым пальцем, выполняет только вторую функцию; приказ и вопрос выполняют вторую и третью (но не первую) функции; ложь связана с третьей и в некотором смысле с первой, но не со второй. В иной терминологии (15, с.12) с этим связано различие информативного, экспрессивного и эвокативного употреблений языка: “В случае первого – формулировка истинных или ложных суждений; при втором – выражение состояний сознания говорящего; при третьем – для оказания влияния на слушателя”. Причем каждое выражение выполняет одновременно эти три задачи.

К. Бюлер (73) выделял сообщение (сигнализирующую функцию), представление (описание) и экспрессию (Kundgabe, Darstellung, Auflösung). Х. Кронассер показал (213, с.67), что это разграничение восходит к кантовскому противопоставлению опознания, чувства удовольствия (или неудовольствия) и волеизъявления. Под влиянием Бюлера, Ю. Хабермас (160, с.334) различает интерактивное, когнитивное и экспрессивное использования языка. В первом тематизированы отношения между коммуникантами (предупреждение, обещание, требование и т.п.), когда пропозициональное содержание высказывания упоминается, но не оно играет главенствующую роль. При втором тематизировано само содержание высказывания – пропозиция о чем-то, происходящем в мире (или о чем-то, возможном в мире), — тогда межличностный параметр затрагивается только вскользь. При экспрессивном использовании тематизирован сам акт выражения (экстериоризации) переживаний человека. Эти функции можно, по (172, с.50), подразделить на свои подклассы, так что получаются следующие функции языка, обычно встречаемые не в чистом виде, а в комбинациях:

- 1) дескриптивная, или информативная, подразделяемая на следующие подфункции:
 - формативная,
 - десигнативная,
- 2) контрольная (или организационная), подразделяемая так:
 - подталкивание к действию (incitive),
 - оценочная,
 - прескриптивная (или предписывающая),
- 3) эмоциональная, с разновидностями:
 - экспрессивная,
 - эвокативная (связанная с воображением),
 - раппортная (социальная).

В системно-функциональной грамматике М. Халлидей (166, с.142) исходит также из трехчастного деления, показывая, что огромное число выборов (опций), в нем представленных, сочетается в сравнительное небольшое число относительно независимых друг от друга “сетей” (networks). Эти сети опций соответствуют базисным функциям языка, каковыми являются: идеационная, межличностная и текстовая функции.

Каждое предложение строится из комбинации структур, полученных в результате этих трех базисных функций, или, попросту говоря, различных видов значения (166, с.144). Множественная функция языка отражается в языковой структуре как основе для опознания идеационной (включая сюда логическую), межличностной и текстовой функции. Не

обязательно при этом одну функцию считать более абстрактной, более “глубинной”, чем другую: все они одинаково семантически существенны (166, с.165).

Ю. С. Степанов в поисках наиболее общего наименования для функций обратил внимание на “связь их с тремя аспектами общей семиотики. “Номинация” как отношение языкового знака к объекту соответствует “семантике”; “предикация” как отношение знака к знаку (с дальнейшим отношением к действительности (...)) соответствует “синтактике”; “перформация” как непосредственное самовыражение говорящего в используемых им языковых знаках соответствует “прагматике” (31, с.341).

Имеем, соответственно, номинативную, синтаксическую и прагматическую функции – как “первичные” функции языка, объединенные общим семиотическим свойством: “Все они непосредственно соотнесены с актом высказывания. Но в этом акте они опираются на различные его стороны: утверждение и самовыражение “Я” (прагматическая функция и ее простейший вид – локация); членение объективного мира по его отношению к человеку, а в конечном счете также по отношению к “Я” (номинативная функция, номинация); установление связи знаков в процессе их производства говорящим (синтаксическая функция и ее простейшие виды – элементарная синтагматическая связь и предикация)” (31, с.349). Причем: “элементы первичного формального аппарата всех трех функций могут быть названиями самих себя, они потенциально аутореферентны. Непервичные элементы формальных аппаратов этим свойством, в общем случае, не обладают” (31, с.349).

Более того: по ходу усложнения функций “имеет место отход от непосредственной ситуации говорения, и ее характеристики переносятся, как это происходит при обыкновенной метафоре, на другие ситуации, отстоящие от ситуации говорения в пространстве или во времени. Это развитие аналогично вариациям слова по линии денотата, назовем его вторичной транспозицией формального аппарата. С другой стороны, происходит усложнение семантического содержания формальных аппаратов в пределах самой ситуации говорения. Это развитие, аналогичное развитию сигнификата в слове, назовем третичной транспозицией формального аппарата. Как и в случае с сигнификатом, изменения здесь всегда, по-видимому, однонаправленны и необратимы” (31, с.350-351). Позже Ю. С. Степанов обобщил эту концепцию до стройной семиологической теории трех мерного языка (34).

Этот взгляд можно соотнести с концепцией Т. Гивона (141, с.21) (ср. 142, с.30), считающего, что (помимо социокультурных, эстетических и психо-эмоциональных) функций языка есть три главных функциональных области, получающих систематическую и различительную кодировку в человеческом языке: лексическая семантика, пропозициональная семантика и прагматика дискурса. Эти три области иерархизированы концентрическим образом (вложены друг друга) в следующем порядке: наиболее глубоко вложено значение, затем – информация и только после этого – прагматическая функция (142, с.32-33). В свою очередь, прагматическая (или “коммуникативно-прагматическая”) функция, по (106, с.158), бывает: а) функцией указания, б) функцией установочной, в) функцией отношения.

9.3. Четырехчастное деление

А. А. Ричардс в 1929 г. выделял четыре аспекта, называемые им функциями, в интерпретации содержания речи: 1) смысл, 2) чувство (т.е. установка по отношению к тому, о чем говорится), 3) тон (установка по отношению к слушающему), 4) намерения говорящего (282, с.182). Вторая и третья функции (чувство и тон), видимо, входят в определение первой и четвертой, т.е. более примитивны (282, с.353). Возможно, что первоначально язык обладал только второй функцией, был полностью эмоционален, и только позже его начали использовать для нейтрального изложения положения дел (282, с.353). В разных же эпизодах употребления языка доминируют разные функции (282, с.183).

К. Голдштайн в 1933 г. выделял четыре различных способа употребления языка, соответствующих четырем различным видам деятельности мозга (146, с.277-278):

1. Использование языка для изложения чего-либо, язык “представляющий” (*darstellende Sprache*), намеренное использование языка, служащее прежде всего для достижения определенных речевых целей: ответ на вопрос, указание на предметы и т.п. Именно эта функция в первую очередь подвергается изменениям при поражениях мозга.

2. Выразительный язык, рождающийся из эмоции, одновременно с другими выразительными движениями, в которые такой язык и входит в качестве частного случая. Эта

функция сохраняется лучше других при поражениях мозга. Она скорее свидетельствует о пассивной, чем об активной стороне участия субъекта в коммуникации.

3. Вербальное знание, представленное в очень разных формах: сенсорная память, внутренняя речь и т.п. Операции, зависящие от этой функции, вызываются чаще всего волей говорящего, но затем развиваются почти без участия воли, произвольно, поскольку регулируются общей психической ситуацией.

4. Обычная речевая деятельность, включающая все остальные формы языковой деятельности в сложном переплетении.

К. Поппер (273, с.134-135) к трем бюлеровским функциям добавляет четвертую – аргументативную, или объяснительную, связанную с презентацией и сопоставлением аргументов (доводов) и объяснений в связи с некоторым спорным вопросом. В каждом из этих четырех аспектов язык допускает неоднозначность. Например, с помощью речи говорящий может скрывать эмоции или мысли (ср. первую функцию), выражать их или, наоборот, подавлять их в себе (ср. вторую), а не поощрять изложение доводов. И в этом состоят различия между культурами. Так, в Италии и Англии различны традиции недомолвок (*understatement*), что связано с различной “культурой экспрессивности”.

Согласно (106, с.144), функция – не то же, что содержание или грамматическое значение морфосинтаксических средств выражения. Имеем (106, с.145) следующие четыре крупных подразделения функций.

1. Синтаксическая функция: а) традиционная, в смысле “член предложения”, б) асемантическая внутреннесинтаксическая (соотнесенная со структурной функцией, см. ниже).

2. Структурная функция, подразделяемая на пять подклассов: а) позиционная, б) дистрибуционная, в) валентность, г) трансформационные соотнесения, д) структурное значение.

3. Логическая функция: а) в научном смысле логическая, б) в обыденном смысле логическая, соотнесенная с внеязыковой денотативной функцией.

4. Семантическая функция: а) имманентная, или содержание, б) внеязыковая денотативная (соотнесенная с логической функцией в обыденном смысле).

Частичный список функциональных ограничений на структуру человеческого языка, по (54, с.21), включает:

1. Коммуникативные цели, или “классическую прагматику”:

1.1. функции речевых актов на уровне индивидуальных высказываний (обещание, требование, объявление и т.п.);

1.2. дискурсные функции на уровне отношений между высказываниями (например, поддержание темы разговора, переключение ее, устранение неоднозначности референции);

1.3. социальные функции, внеположенные границам между высказываниями (например, установление статуса с помощью уровней адресации, выбор формальных и/или неформальных лексических средств, конформных контексту).

2. Пропозициональное содержание, или “классическая семантика”:

2.1. содержание на уровне события, в отношении к грамматике предложения (например, отношения агенса, действия, пациенса, локализации, инструмента, времени и пространства),

2.2. содержание, базирующееся на схемах в отношении к дискурсу, состоящему из более чем одного предложения (например, процедуры грамматики рассказа, правил формирования или произнесения анекдота).

3. Факторы канала в оперативной (неавтономной) обработке речи (например, свойства, отличные от семантического или прагматического содержания):

3.1. ограничения восприятия (выделенность, регулярность и непрерывность факторов формы, отражающие действие принципов гештальта на правильную форму),

3.2. ограничения на память при понимании (эффекты серийности, ограничение на число “кусков” информации, доступных для сегментирования единиц события),

3.3. ограничения на память в планировании движения по ней (например, доступность единиц структуры НС и конкретных лексических единиц при поиске во внутреннем лексиконе как функция частотности и единственности),

3.4. ограничения выхода на периферии (фонологические факторы, влияющие на скорость и ясность продуцирования речи).

4. Ограничения на организацию долговременной памяти, например, локальные процедуры, переупорядочивающие память в сторону симметрии и связности.

В концепции “структура текста – структура мира” предполагается, что функциональная интерпретация отрывка текста может зависеть от точки зрения реципиента, его фонового знания и т.п. Иногда люди высказываются нарочито нечетко, чтобы не обрекать свою речь на однозначную интерпретацию (251, с.33) и при необходимости уйти из-под огня критики, сказав, что их неправильно поняли. Имеем следующую классификацию.

1. Перформативно-модальная функция. Пропозиция с этой функцией (в рамках атомарного текста) указывает на модальность, с которой текст продуцируется. При этом указывается на место и время, релевантные для ситуации коммуникации, — т.е. на мир “сейчас – здесь – я”. Эта функция наиболее лапидарно выражается словами типа: “я утверждаю, что”, “я сообщаю тебе, что”.

2. Мироконституирующая функция, указывает на установку человека, продуцирующего текст, к положению дел, указываемому высказыванием. Это указание особенно явно в таких формулах, как: “я полагаю, что”, “я знаю, что”, “я имею в виду”. Пропозиции, выступающие в данной функции, указывают на мир, релевантный с точки зрения “сейчас – здесь – я”.

3. Дескриптивная функция, представляет описание положения дел, составляющего объект сообщения. Она сама может быть сложной, т.е. содержать вложенные описательные пропозиции.

4. Коммуникативная функция – указание на общие отношения места, времени и коммуникантов к соответствующим параметрам контекста.

В этой же концепции (251, с.53-54) понятие функции указывает на возможность додумывать альтернативные средства и даже поставить под вопрос саму необходимость этих средств. Вот почему функции в тексте служат решению вполне определенных задач коммуникации и соблюдению вполне определенных коммуникативных потребностей (251, с.54). Различаются следующие виды функций, ортогональных вышеприведенным:

1. синтактико-топиковые, затрагивающие линейную последовательность именованных объектов в тексте; к ним относятся структура темы и семантическая изотопия (251, с.60);

2. функции пространства и времени, служащие изображению упорядочения положений дел в тексте;

3. иллюкутивные в узком смысле, связывающие конкретные намерения интерпретации у говорящего с линейным упорядочением именованных предметов и представлений положения дел; например, контраст, экспликация, каузальность, аргументативный статус служат этой цели;

4. поэтико-риторические, устанавливающие средствами первых трех функций эстетические качества и качества воздействия текста.

9.4. Пятичастное деление

Классификация Огдена и Ричардса (263, с.226-227): 1) символизация референции, 2) выражение установки по отношению к слушающему, 3) выражение установки по отношению к референту, 4) преднамеренное достижение эффектов, 5) поддержка референции.

Характер языка, по (261, с.8), определяется тем, что делают с его помощью. М. Халлидей (169, с.21-22) так обобщает и группирует функции:

1. Интерпретация целостности нашего опыта, редуцирование бесконечно разных явлений в окружающем мире, а также нашего внутреннего мира (процессов нашего внутреннего сознания) к обозримому числу классов явлений: типы процессов, событий и действий, классы объектов, людей и институций и т.п.

2. Выражение определенных элементарных логических отношений типа: “и”, “или”, “если”, а также тех, которые создаются самим языком – “а именно”, “гласит”, “значит”.

3. Выражение нашего участия в качестве говорящих, в ситуации речи; роли, которые мы исполняем сами и/или заставляем исполнять других; наши желания, чувства, установки и суждения.

4. Одновременное решение всех этих задач, так чтобы произносимое соотносилось с контекстом произнесения (и с предшествующими речами, и с “контекстом ситуации”). Язык организуется в релевантный дискурс, а не в поток слов и предложений (как это бывает в грамматиках и словарях).

5. Установление и поддержание коммуникативного гомеостаза – равенства и взаимопонимания между собеседниками.

Различаются (127, с.23-24) следующие функции как коммуникативные цели того или иного фрагмента языка (127, с.219):

1. Личностная – способность говорящего или пишущего объяснить ход своих мыслей, упорядочивать или классифицировать материал в своей мысли или выражать свои думы и эмоции, такие как любовь, радость, разочарование, огорчение, гнев, фрустрация, скука, горе. Это еще и способность прояснять цель своей речи и менять или завершать разговор, в зависимости от обратной связи с аудиторией.

2. Межличностная — дает возможность установить и поддерживать нужные социальные и деловые отношения. К этой категории относятся: выражение симпатии, радости по поводу успеха у других людей, стремление к благу других, заключение или расторжение договоренностей, извинение за ошибки или невыполнение обязательств, указание согласия или несогласия с собеседником, прерывание собеседника, избегание неудобных тем, — все, что делает наше общение с другими людьми возможным и удобным.

3. Директивные – то, что позволяет запрашивать или предлагать, убеждать или уговаривать.

4. Референциальная, или метаязыковая – позволяет говорить о настоящем, прошлом или будущем, о непосредственном окружении и о самом языке. Перевод с одного языка на другой включен в эту функцию.

5. Имагинативная – творческое использование языка, то есть возможность писать на нем стихи, сочинять рассказы и пьесы и т.д.

9.5. Шестичастное деление

Р. Якобсон исходил из шести факторов общения (202, с.66):

	содержание	
адресант	сообщение	адресат
	контакт	
	код	

Этим факторам соответствуют следующие функции (202, с.71]:

	референциальная	
эмотивная	поэтическая	конативная
	фатическая	
	метаязыковая	

В работе (112) различаются следующие функции общения:

1) передача и поиск фактической информации – идентифицирование, сообщение, поправка, вопрос;

2) выражение и поиск интеллектуальных установок – выражение и запрос относительно согласия или разногласия, принятие или отклонение предложения или приглашения и т.п.;

3) выражение и установление эмоциональных установок – удовольствия или неудовольствия, удивления, надежды, намерения и т.п.;

4) выражение и установление моральных установок – извинение, выражение одобрения или неодобрения и т.п.,

5) каузация с помощью речи, приводящая к тому или иному ходу событий; например, совет и предостережение;

6) социализация – приветствие и прощание, привлечение внимания, произнесение тоста и т.п.

Согласно (348, с.346), шесть типов использования языка суть: беседа, рассказ, декламация, обучение языку (особенно при аудиторном обучении), надписи (особенно на зданиях) и (возможно) разговор с самим собой.

9.6. Восьмичастное деление

В работе (349) разграничиваются: 1) модальность (при выражении степени уверенности, необходимости, убеждения, воли, обязательности и терпимости); 2) моральная дисциплина и оценочность (суждение, оценка, порицание); 3) навязывание (убеждение в чем-либо, рекомендации, предсказания); 4) довод (соотнесение с обменом информацией и взглядов:

утверждаемая или искомая информация, согласие, разногласия, отказ, уступка); 5) экспозиция; 6) эмоции – позитивные и негативные; 7) эмоциональные отношения: приветствия, лесть, враждебность и т.п.; 8) безличностные отношения – вежливость и статус: степень формальности/неформальности. По (120, с.32), выделяемые восемь функциональных типов значения очень сходны с этими: переживание (experiential), отрицательность (negativity), логические отношения, интеракциональная, аффективная, модальная, тематическая и информационная. Эти функции образуют ядро семантики.

В. А. Звегинцев (14, с.122) в качестве более или менее принятых функций называет: информативную (средство общения), эмотивную, фатическую, познавательную, коннотативную, поэтическую, металингвистическую (дающую возможность перевода одной системы лингвистических знаков в другую), аккумуляционную (фиксирующую человеческий опыт).

9.7. Девятичастное деление

В работе (346, с.88), в рамках концепции Выготского, реконструируются следующие речевые функции: сигнализирующая, сигнификативная, социальная, индивидуальная, коммуникативная, интеллектуальная, номинативная, индикативная и символическая.

Огден и Ричардс (263, с.46) приводят классификацию функций у А. Ингрехема (по его лекциям 1903 г.): 1) рассеивать излишнюю нервную энергию, 2) регулировать действия людей и животных, 3) сообщать идеи, 4) выразить, 5) запоминать, 6) приводить в движение неодушевленные предметы (магия), 7) мыслить, 8) доставлять удовольствие от речи как таковой, 9) дать филологу материал для работы.

9.8. Четырнадцатичастное деление

Согласно (285, с.49), имеем следующие функции языка: 1) избегание худшего (“речевое избегание”); 2) конформность по отношению к нормам (устной и письменной речи); 3) эстетика; 4) регулирование контакта (приветствие, прощание и т.п.); 5) перформативы (обещание, пари и т.п.); 6) саморегулирование в поведении и в аффекте (к последнему относятся: разговор с самим собой, молитва и т.п.); 7) регулирование поведения и аффектов собеседника (приказы, требования, угрозы, шутки и т.п.); 8) выражение аффекта (восклицание, попреки); 9) маркирование источника говорения: его эмоционального состояния, личности, идентичности; 10) маркирование ролевого отношения; 11) указание на неязыковой мир, связанное с выделением, организацией, хранением, передачей, обучением в сферах знания: логика, наука, этика, метафизика, эстетика (ср.: констатация, возражение, сообщение, напоминание, размышление, решение проблемы, анализ, обработка, синтез); 12) обучение (наставление); 13) вопрос; 14) метаязыковые функции.

10. В чем упрекают функционализм его критики?

В литературе функционализм критикуется не как ориентация на “целевую” модель языка, – обычно с этим соглашались, – а как реализация общего подхода.

1. Понятие функции противоречит (в частности, в концепции Ш. Балли (52), по (340, с.100-101), самому понятию о развитии языка. Если есть нормальное функционирование, то зачем от него отклоняться? Функционалист же тем не менее ссылается на неточность и огрубленность научного метода, чтобы не жертвовать понятием развития. Итак, “функция” дает только приближенное представление о языке, чрезмерно абстрактное, и не может охватить прогресс и жизнь. Функциональное объяснение устраняет из жизни все конкретное, полное и подвижное: “Понятие жизни тянет за собой понятие своей функции, как свой собственный труп” (52, с.101).

2. Неадекватность предположений о том, в чем состоит равновесие системы, неясность инвентаря элементов системы, замаскированность функциональной телеологии, порочные круги в объяснениях *post factum*; псевдоэмпирические нормативные критерии функциональности; статичность, неясность статуса и степени точности модели; априорность в констатации функций; генерализация “пустых формул” (редукция сложности) и т.п. Все это – упреки, предъявляемые функционализму как методологии, в частности, в социологии (271, с.20).

3. Наблюдение над грамматиками и над “обработкой” речи человеком еще не гарантирует адекватность объяснения связей между грамматикой и тем, как воспринимается и

продуцируется речь (136, с.132). Во всяком случае, не только свойства языка бывают следствиями свойств языковых механизмов обработки речи, но и наоборот, эти механизмы могут быть результатом свойств языка. Язык тоже заставляет человека модифицировать свои процедуры интерпретации и продуцирования речи (136, с.130-131).

4. Для того чтобы объяснить то или иное грамматическое свойство, основываясь на системах языкового исполнения (performance), необходимо, по (86), принять эволюционистский взгляд: по ходу эволюции таких систем нужды обработки речи могут привести к победе одних грамматических принципов над другими. Это сказывается на общих механизмах человеческой языковой способности. Однако объяснение, основанное только на утверждении, что некоторая конкретная грамматическая закономерность облегчает обработку предложения, всегда подозрительно без учета всего бесконечного контекста описываемого языка (136, с.130).

5. Недоразумения в нормальном общении гораздо более часты, чем представляют функционалисты. Особенно часты недоразумения в области фонологического варьирования, морфологических чередований и синтаксического варьирования (219, с.311).

6. Понятия “стимул”, “подкрепление”, “депривация”, взятые на вооружение в скиннеровском “функциональном анализе” и столь наглядные в поведении животных, создают чрезмерно упрощенное представление о поведении человека. Наблюдение над физическим окружением говорящего и манипулирование этим окружением, в отвлечении от внутреннего мира, от ментальности человека – научная фикция (80, с.547). Биологическое понятие функции как роли физически наблюдаемого фактора в человеческом речевом поведении непригодно для объяснения механизмов языка.

7. Вопреки общим декларациям, функционалистские исследования обычно не выходят за рамки предложения (187, с.140).

8. Самая большая проблема (158, с.221) – найти баланс между языковой формой и коммуникативной функцией: определяет ли функция форму (ведь требования коммуникации накладывают определенные ограничения на языковую структуру) – или же форма абсолютно произвольна (например, так отвечает на этот вопрос Хомский) и не зависит от функциональных или семантических соображений? Критикуя функционализм, Хомский (ср. (158, с.249)) утверждает:

– все функциональные объяснения рано или поздно (пусть и не сразу) можно заменить чисто формальными;

– функционалистские формализовки, если и объясняют факты, обычно бывают или слишком нефальсифицируемыми, либо слишком тяжеловесными.

9. Функциональные объяснения типа: “нечто создано для того, чтобы” уязвимы (90, с.25): ведь очень часто языки устроены дисфункционально; например, зачем нужна синонимия? Впрочем, такая дисфункциональность имеет свои ограничения: например, трудно представить себе реальный язык, в котором все лексические единицы омонимичны. Положительная сторона функционального объяснения в синтаксисе – в некотором прояснении того, как извлекается семантическое содержание из синтаксической структуры.

Список литературы

1. Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл: Логико-семант. пробл. – М., 1976. – 383 с.
2. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. – М., 1955. – 416 с.
3. Бенвенист Э. Уровни лингвистического анализа // Новое в лингвистике. – М., 1965. – Вып. 4. — С.434-449.
4. Беркли Д. Трактат о принципах человеческого знания, в котором исследованы главные причины заблуждений в науках, а также основания скептицизма, атеизма и безверия // Беркли Д. Сочинения. – М., 1978. – С.149-246.
5. Бондарко А. Функциональная грамматика // Лингвистический энциклопедический словарь. — М., 1990. – С.565-566.
6. Бондарко А. Семантика лица // Теория функциональной грамматики: Персональность. Залоговость. – СПб., 1991. – С.5-40.
7. Булыгина Т. В., Крылов С. А. Функциональная лингвистика // Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990. – С.566.
8. Буслаев Ф. И. Историческая грамматика русского языка. – М., 1959. – 623 с.
9. Виноградов В. В. К истории лексики русского литературного языка // Рус. речь. – Л., 1927, № 1. – С. 90-118.
10. Волошинов В. Н. Марксизм и философия языка: Основные пробл. социологич. метода в науке о языке. – Л., 1929. – 188 с.
11. Гак В. Г. Языковые преобразования. – М., 1998. – 763 с.
12. Ельмслев Л. Прологомены к теории языка // Новое в лингвистике. – М., 1960. – Вып.1. – С.264-389.

13. Есперсен О. Философия грамматики. – М., 1958. – 404 с.
14. Звегинцев В. А. Язык и лингвистическая теория. – М., 1973. – 248 с.
15. Ивин А. А. Основания логики оценок. – М., 1970. – 230.
16. Кликс Ф. Пробуждающееся мышление: У истоков человеческого интеллекта. – М., 1983. – 302 с.
17. Кондрашов Н. Предисловие // Пражский лингвистический кружок. – М., 1967. – С.5-16.
18. Краткий словарь когнитивных терминов / Кубрякова Е. С., Демьянков В. З., Панкрац Ю. Г., Лузина Л. Г. – М., 1996. – 245 с.
19. Курилович Е. Деривация лексическая и деривация синтаксическая: К теории частей речи // Курилович Е. Очерки по лингвистике. – М., 1962. – С.57-70.
20. Курилович Е. Эргативность и стадиальность в языке // Там же. – С.122-133.
21. Курилович Е. Понятие изоморфизма // Там же. – С.21-36.
22. Курилович Е. Проблема классификации падежей // Там же. – С.175-203.
23. Курилович Е. Заметки о значении слова // Там же. – С.237-250.
24. Курилович Е. Очерки по лингвистике. – М., 1962. – 456 с.
25. Матеиус В. Язык и стиль // Пражский лингвистический кружок. – М., 1967. – С.444-523.
26. Мельчук И. А. Опыт теории лингвистических моделей “смысл – текст”. – М., 1974. – 314 с.
27. Пауль Г. Принципы истории языка. – М., 1960. – 500 с.
28. Рождественский Ю. В. Лекции по общему языкознанию. – М., 1990. – 381 с.
29. Слюсарева Н. А. Функции языка // Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990. – С.564-565.
30. Степанов Ю. С. Современные связи лингвистики и логики: Категории функции, пропозициональной связки, синтаксического отрицания // Вопр. языкознания. – М., 1973. – № 4. – С.62-75.
31. Степанов Ю. С. Семиотическая структура языка: (Три функции и три формальных аппарата языка) // Изв. АН. Сер. лит. и яз. – М., 1973. – Т.32, вып.4. – С.340-355.
32. Степанов Ю. С. Методы и принципы современной лингвистики. – М., 1975. – 311 с.
33. Степанов Ю. С. Имена, предикаты, предложения: Семиологич. грамматика. – М., 1981. – 360 с.
34. Степанов Ю. С. В трехмерном пространстве языка: Семиотич. пробл. лингвистики, философии, искусства. – М., 1985. – 335 с.
35. Тезисы пражского лингвистического кружка // Пражский лингвистический кружок. – М., 1967. – С.17-41.
36. Телия В. Н. Семантика связанных значений слов и их сочетаемости // Аспекты семантических исследований. – М., 1980. – С.250-319.
37. Хинтика Я. Логико-эпистемологические исследования. – М., 1980. – 447 с.
38. Abe I. Intonational patterns of English and Japanese // Word. – N.Y., 1955. – V.11, N 3. – P. 386-398.
39. Abend B. Grundlagen einer Methodologie der Sprachbeschreibung: Kritische Untersuchungen zur Einheit von Linguistik und Literaturwissenschaft. – Würzburg, 1985. – 289 S.
40. Agricola E. Text – Textaktanten – Informationskern // Probleme der Textgrammatik. – B., 1977. – Bd. 2. – S.11-32.
41. Aitchison J. Words in the mind: An introd. to the mental lexicon. – Oxford, 1987. – X, 229 p.
42. Alston W. P. Divine and human action // Divine and human action: Essays in the metaphysics of theism. – Ithaca; L., 1988. – P.257-280.
43. Andersen H. Tenues and mediae in the Slavic languages: A historical investigation. – Harvard, 1967. –
44. Andersen P. B., Holmqvist B. A toolbox for analyzing work language // Pragmatics and linguistics: Festschr. for Jacob L.Mey on his 60th birthday 30th October 1986. – Odense, 1986. – P.3-22.
45. Anderson J. M. An essay concerning aspect: Some considerations of a general character arising from the Abbe Darrigol's analysis of the Basque verb. – The Hague; Paris, 1973. – V, 112 p.
46. Andrews A.D.I. Long distance agreement in Modern Icelandic // The nature of syntactic representation. – Dordrecht. etc., 1982. P.1-33.
47. Andrews A. D. I. The major functions of the noun phrase // Language typology and syntactic description – Cambridge etc., 1985. – Vol.1. Clause structure. – P.62-154.
48. Arcaini E. Analisi linguistica e tradizione. – Bologna, 1986. – 248 p.
49. Armstrong D. F., Stokoe W.C., Wilcox S.E. Gesture and the nature of language. – Cambridge, 1995. – X, 260 p.
50. Austin J. L. How to do things with words. – Oxford, 1962. – VII, 167 p.
51. Babby L. H. Lexical functions and syntactic construction // Papers from the parasession on the lexicon. – Chicago, 1978. – P. 26-33.
52. Bally C. Le langage et la vie. – Genève; Heidelberg, 1913. – 111 p.
53. Bates E., MacWhinney B. Functionalism and the competition model // The crosslinguistic study of sentence processing. – Cambridge etc, 1989. – P.3-73.
54. Bates E., MacWhinney B., Smith S. Pragmatics and syntax in psycholinguistic research // Language development at the crossroads: Papers from the interdisciplinary conference on language acquisition at Passau. – Tübingen, 1983. – P.11-30.
55. Bateson G. Steps to an ecology of mind. – N.Y, 1972. – XXVIII, 545 p.

56. Bechtel W. Philosophy of mind: an overview for cognitive science. – Hillsdale (N.J.) etc., 1988. – XIV, 162 p.
57. Bense M. Das Universum der Zeichen: Essays über die Expansionen der Semiotik. – Baden-Baden, 1983. – 214 S.
58. Bergmann J. R. Ethnomethodologische Konversationsanalyse // Handbuch der Dialoganalyse. – Tübingen, 1994. – S. 1-16.
59. Berman J., Frank A. Deutsche und französische Syntax im Formalismus der LFG. – Tübingen, 1996. – IX, 246 S.
60. Bernstein B. A public language: Some sociological implications of a linguistic form // Bernstein B. Class, codes and control. – St Albans, 1973. – Vol.1: Theoretical studies towards a sociology of language. – P.62-77.
61. Berrendonner A. L'éternel grammairien: Etude du discours normatif. – Berne; Frankfurt am Main, 1982. – 125 p.
62. Berwick R. C., Weinberg A.S. The grammatical basis of linguistic performance: Language use a. acquisition. – Cambridge(Mass.); L., 1984. – XVIII, 325 p.
63. Bever T. G. Functional explanations require independently motivated functional theories // Papers from the parasession on functionalism. – Chicago, 1975. – P. 580-609.
64. Bigelow J. C., Pargetter R. Functions // J. of philosophy. – N.Y., 1987. – Vol.84, N 4. – P.181-196.
65. Bloomfield L. Literate and illiterate speech // American speech. – Philadelphia, 1927. – Vol.2. – P. 432-439.
66. Bloomfield L. Secondary and tertiary responses to language // Language. – Baltimore, 1944. – Vol.20, N 1. – P. 413-425.
67. Borkin A. Problems in form and function. – Norwood (N.J.), 1984. – IX, 153 p.
68. Brandes S. Metaphors of Masculinity: Sex a. status in Andalusian folklore. – Philadelphia, 1980. – X, 236 p.
69. Bresnan J. W. Control and complementation // The mental representation of grammatical relations. – Cambridge (Mass.); L., 1982. – P.282-390.
70. Bresnan J. W., Kaplan R. M. Introduction: Grammars as mental representations of language // The mental representation of grammatical relations. – Cambridge (Mass.); L., 1982. – P. xvii-iii.
71. Brown G., Yule G. Discourse analysis. – Cambridge etc., 1983. – XII, 288 p.
72. Brüner G., Redder A. Modalverben im Diskurs // Brüner G., Redder A. Studien zur Verwendung der Modalverben mit einem Beitrag von Dieter Wunderlich. – Tübingen, 1983. – S.13-90.
73. Bühler K. Sprachtheorie: Die Darstellungsfunktion der Sprache. – Jena, 1934. – XVI, 434 S.
74. Bunt H., Katwijk A. Dialogue acts as elements of a language game // Linguistics in the Netherlands 1977-1979. – Dordrecht, 1980. – P.264-282.
75. Burke K. A grammar of motives and a rhetoric of motives. – Cleveland, 1962. –868 p.
76. Carlson L. Dialogue games: An approach to discourse analysis. – Dordrecht etc., 1983. – XXIII, 317 p.
77. Caron J. Précis de psycholinguistique. – P., 1989. – 259 p.
78. Chafe W. L. Givenness, contrastiveness, definiteness, subjects, topics, and point of view // Subject and topic. – N.Y., 1976. – P.25-55.
79. Charaudeau P. Langage et discours: Eléments de sémiolinguistique (théorie et pratique). – P., 1983. – 176 p.
80. Chomsky N. Rec: Skinner B.F. Verbal behavior // Language. – Baltimore, 1959. – Vol.35, N 1. – P. 26-58.
81. Chomsky N. Aspects of the theory of syntax. – Cambridge (Mass.), 1965. – X, 251 p.
82. Chomsky N. Deep structure, surface structure, and semantic interpretation // Semantics: An interdisciplinary reader in philosophy, linguistics a. psychology. – Cambridge, 1971. – P.183-216.
83. Chomsky N. Language and mind. — Enl. ed. – N.Y. etc., 1972. – XII, 194 p.
84. Chomsky N. Rules and representations. – N.Y., 1980. – VIII, 299 p.
85. Chomsky N. Lectures on government and binding. – Dordrecht; Cinnamon, 1981. – IX, 371 p.
86. Chomsky N., Lasnik H. Filters and control // Linguistic inquiry. – Cambridge (Mass.), 1977. – Vol.8 N 3. – P. 425-504.
87. Chung S. Unbounded dependencies in Chamorro grammar // Linguistic inquiry. – Cambridge (Mass.), 1982. – Vol.13, N 1. – P. 38-77.
88. Clément C. B. Le pouvoir des mots: Symbolique et idéologique. – P., 1973. – 173 p.
89. Cohen R. Investigation of processing strategies for the structural analysis of arguments // Proceedings of the 19th Annual meeting of the Association for computational linguistics, Stanford (Cal.), June 1981. — Stanford (Cal.), 1981. – P. 71-76.
90. Comrie B. S. Language universals and linguistic typology: Syntax a. morphology. – Chicago, 1981. – XI, 252 p.
91. Comrie B. S. Form and function in explaining language universals // Explanations for language universals. – Berlin etc., 1984. – P. 87-103.
92. Coseriu E. Formen und Funktionen: Studien zur Grammatik /Hrsg. von Petersen U. – Tübingen, 1987. – IX, 204 S.
93. Crain S., Fodor J. D. How can grammars help parsers? // Natural language parsing: Psychological, computational, a. theoretical perspectives. – Cambridge etc., 1985. – P. 94-128.
94. Cultural models in language and thought / Ed. by Holland D., Quinn N. – Cambridge., 1987. – XII, 400 p.
95. Daneš F. On Prague school functionalism in linguistics // Functionalism in linguistics. – Amsterdam; Philadelphia, 1987. – P. 3-38.
96. Darwin C. The expression of the emotions in man and animals. – L., 1872. – VI, 374 p.
97. Deane P. D. Grammar in mind and brain: Explorations in cognitive syntax. – Berlin; N.Y., 1992. – X, 355 p.
98. DeFleur M. L., Ball-Rokeach S.J. Theories of mass communication. — 5th ed. – N.Y.; L., 1989. – XV, 368 p.
99. Denis M. Image et cognition. – P., 1989. – 284 p.

100. De Vries W. Hegel's theory of mental activity: An introd. to theoretical spirit. – Ithaca; L., 1988. – XXIII, 209 p.
101. Dik S. C. Seventeen sentences: Basic principles a. application of functional grammar // Current approaches to syntax. – New York etc., 1980. – P. 45-75.
102. Dik S. C. Cleft and pseudo-cleft in functional grammar // Linguistics in the Netherlands 1977-1979. – Dordrecht, 1980. – P. 26-43.
103. Dik S. C. Some basic principles of functional grammar // Proceedings of the XIIIth International Congress of Linguists, August 29 – September 4, 1982, Tokyo. – Tokyo, 1983. – P. 74-88.
104. Dimitracopoulou I. Conversational competence and social development. – Cambridge etc., 1990. – XI, 167 p.
105. Dirven R., Fried V. By way of introduction // Functionalism in linguistics. – Amsterdam; Philadelphia, 1987. – P. ix-xvii.
106. Dittmann J. Konstitutionsprobleme und Prinzipien einer kommunikativen Grammatik // Dialogforschung. – Düsseldorf, 1981. – S. 135-177.
107. Downes W. The imperative and pragmatics // J. of linguistics. – L.; N.Y., 1977. – Vol.13. – P. 77-97.
108. Dressler W. U. Word formation (WF) as part of natural morphology // Leitmotifs in natural morphology. – Amsterdam; Philadelphia, 1987. – P. 99-126.
109. Droste F. G. On metaphor and meta-metaphor // Linguistics. – Berlin etc., 1986. – Vol.24, N 4. – P. 755-771.
110. Durkheim E. De la division du travail social. – P., 1893. – IX, 471 p.
111. Eberenz R. Tempus und Textkonstitution im Spanischen: Eine Untersuchung zum Verhalten der Zeitform auf Satz- und Textebene. – Tübingen, 1981. – XI, 246 S.
112. Ek J. A. van. Threshold level English. – Oxford, 1980. – p.
113. Elgin C. Z. With reference to reference. – Indianapolis; Cambridge, 1983. – VIII, 200 p.
114. Ellis R. Understanding second language acquisition. 2nd impr. – Oxford etc., 1986. – VIII, 327 p.
115. Eng J. van der. The effectiveness of the aesthetic function // The structure of the literary process: Studies dedicated to the memory of Felix Vodicka. – Amsterdam; Philadelphia, 1986. – P. 137-159.
116. Engberg J. Pragmatische Aspekte einer komparativen Analyse von deutschen und dänischen Urteilen // New departures in contrastive linguistics: Neue Ansätze in der Kontrastiven Linguistik: Proceedings of the Conference held at the Leopold-Franzens-University of Innsbruck, Austria, 10-12 May 1991. – Innsbruck, 1992. – Vol. 2. – S.9-19.
117. Epstein E. The self-reflexive artefact: The function of mimesis in an approach to a theory of value for literature // Style and structure in literature: Essays in new stylistics. – Oxford, 1975. – P. 40-78.
118. Evans D. A. Situations and speech acts: Toward a formal semantics of discourse. – N.Y.; L., 1985. – VII, 211 p.
119. Fauconnier G. Mental spaces: Aspects of meaning construction in natural language. – Cambridge (Mass.), 1985. – IX, 185 p.
120. Fawcett R. P. Cognitive linguistics and social interaction: Towards an integrated model of a systemic functional grammar a. the other components of a communicating mind. – Heidelberg, 1980. – XIII, 219 p.
121. Fill A. Joking in English and German: A contrastive study // New departures in contrastive linguistics: Neue Ansätze in der Kontrastiven Linguistik: Proceedings of the Conference held at the Leopold-Franzens-University of Innsbruck, Austria, 10-12 May 1991. – Innsbruck, 1992. – Vol. 2. – P. 21-31.
122. Fillmore C. J. The case for case reopened // Grammatical relations. – New York etc., 1977. – P. 59-81.
123. Fillmore C. J. Innocence: A second idealization for linguistics // Papers from the 5th annual meeting of the Berkley linguistic society. – Berkeley, 1979. – P. 63-76.
124. Fillmore C. J. Frames and the semantics of understanding // Quaderni di Semantica. Bologna, 1985. – Vol.6. – P. 222-255.
125. Fillmore C. J. The mechanisms of "Construction Grammar" // Papers from the 14th annual meeting of the Berkley linguistic society. – Berkeley, 1988. – P. 35-55.
126. Finke M. C. Metapoesis: The Russian tradition from Pushkin to Chekhov. – Durham; L., 1995. – XV, 221 p.
127. Finocchiaro M., Brumfit C. The functional-notional approach: From theory to practice. – Oxford etc., 1983. – XVI, 235 p.
128. Firbas J. On defining the theme in functional sentence analysis // Travaux linguistique de Prague. – Prague, 1964. – Vol.1. – P. 267-280.
129. Firth J. R. The technique of semantics // Firth J.R. Papers in linguistics 1934-1951. – L/ etc., 1957. — P.7-33.
130. Fisher H. Language and logic in personality and society. – N.Y., 1985. – XVI, 281 p.
131. Flew A. G. Philosophy and language // Essays in conceptual analysis. – N.Y., 1956. P. 19-56.
132. Foley W. A., Van Valin R.D.J. Functional syntax and universal grammar. – Cambridge etc., 1984. – XII, 416 p.
133. Fowler R. G. Notes on critical linguistics // Language topics: Essays in honour of Michael Halliday. – Amsterdam; Philadelphia, 1987. – Vol.2. – P.481-492.
134. Franks S. Is there a pro-drop parameter for Slavic? // Papers from the regional meeting of the Chicago linguistic society. — Chicago, 1975. – Vol.18. – P. 140-154.
135. Fraser B. The domain of pragmatics // Languages and communication. – L.; N.Y., 1983. – P.29-59.
136. Frazier L. Syntactic complexity // Natural language parsing: Psychological, computational, a. theoretical perspectives. – Cambridge etc., 1985. – P.129-189.
137. Frege G. Begriffsschrift: Eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens. – Halle (Saale), 1879. –

- X, 88 S.
138. Gadamer H.-G. *Hermeneutik I: Gadamer H.-G. Wahrheit und Methode: Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik*. 5. Aufl. – Tübingen, 1986. – XI, 495 S.
 139. Gardiner A. *The theory of speech and language*. – Oxford, 1932. – XII, 348 p.
 140. Geeraerts D. *Diachronic prototype semantics: A contribution to historical lexicology*. – Oxford, 1997. – 207 p.
 141. Givón T. *Language, function and typology // Proceedings of the XIIIth International Congress of Linguists, August 29 – September 4, 1982, Tokyo*. – Tokyo, 1983. — P.13-29.
 142. Givón T. *Syntax: A functional-typological introduction*. – Amsterdam; Philadelphia, 1984. – Vol. 1. – XX, 464 p.
 143. Givón T. *The pragmatics of de-transitive voice: Functional a. typological aspects of inversion // Voice and inversion*. – Amsterdam; Philadelphia, 1994. – P.3-44.
 144. Goddard Y. *Paradigmatic relationships // Special session on general topics in American Indian linguistics*. – Ann Arbor (Mich.), 1990. – P.39-50.
 145. Goldberg A. *Constructions: A construction grammar approach to argument structure*. – Chicago, 1995. – 276 p.
 146. Goldstein K. *L'analyse de l'aphasie et l'étude de l'essence du langage // Essais sur le langage*. – P., 1969. – P.257-330.
 147. Goodman N. *Metaphor as moonlighting // On metaphor*. – Chicago; L., 1979. – P.175-180.
 148. Gordon D., Lakoff G. *Conversational postulates // Speech acts*. – New York etc., 1975. – P. 83-106.)
 149. Green G. M. *The function of form and the form of function // Papers from the 10th regional meeting of the Chicago linguistic society*. — Chicago, 1974. – Vol.10. – P. 186-197.
 150. Green G., Morgan J. L. *Practical guide to syntactic analysis*. – Stanford, 1996. – XI, 127 p.
 151. Greenberg J. H. *Essays in linguistics*. – Chicago, 1957. – VII, 108 p.
 152. Greimas A. J. *Sémantique structurale: Recherche de méthode*. – P., 1966. – 262 p.
 153. Grice P. *Logic and conversation // Speech acts*. – New York etc., 1975. – P.41-58.
 154. Gruber J. S. *Studies in lexical relations*. – Cambr. (Mass.), 1965. – 303 p.
 155. Güllich E. *Konventionelle Muster und kommunikative Funktionen von Alltagserzählungen // Erzählen im Alltag*. – Frankfurt a.M., 1980. – S. 335-384.
 156. Gumperz J. J. *Sociolinguistics and communication in small groups // Sociolinguistics: selected readings*. – Harmondsworth, 1972. – P.203-224.
 157. Gundel J. K. *Universals of topic-comment structure // Studies in syntactic typology*. – Amsterdam; Philadelphia, 1988. – P.209-239.
 158. Guy G. R. *Form and function in linguistic variation // Towards a social science of language: Papers in honor of William Labov*. – Amsterdam; Philadelphia, 1996. – Vol.1. – P.221-252.
 159. Haas W. *Function and structure in linguistic descriptions // Functionalism in linguistics*. – Amsterdam; Philadelphia, 1987. – P.333-335.
 160. Habermas J. *Universalpragmatische Hinweise auf das System der Ich-Abgrenzungen. // Seminar: Kommunikation, Interaktion, Identität*. — 2. Aufl. – Frankfurt a. M., 1983. – S.332-347.
 161. Haiman J. *The iconicity of grammar: Isomorphism and motivation // Language*. – Baltimore, 1980. – Vol. 56, N 3. – P. 515-540.
 162. Haiman J. *Natural syntax: Iconicity and erosion*. – Cambridge etc., 1985. – VIII, 285 p.
 163. Haiman J. *Ritualization and the development of language // Perspectives on grammaticalization*. – Amsterdam; Philadelphia, 1994. – P.3-28.
 164. Hake R. L., Williams J. M. *Some cognitive issues in sentence combining: On the theory that smaller is better // Sentence combining: A rhetorical perspective*. – Carbondale; Edwardsville, 1985. – P.86-106.
 165. Halliday M. A. *Notes on transitivity and theme in English // J. of linguistics*. – L.; N.Y., 1967. – Vol.3, 1/2. – P. 37-81, 199-244.
 166. Halliday M. A. *Language structure and language function // New horizons in linguistics*. – Harmondsworth, 1970. – P.140-165.
 167. Halliday M. A. *Linguistic function and literary style: An inquiry into the language of William Golding's "The inheritors" (1971). // Essays in modern stylistics*. – L.; N.Y., 1981. – P.325-360.
 168. Halliday M. *Explorations in the functions of language*. – L., 1973.- 143 p.
 169. Halliday M. A. *Language as social semiotic: The social interpretation of language a. meaning*. – L., 1978. – (V), 256 p.
 170. Hammond M., Noonan M. *Morphology in the generative paradigm // Theoretical morphology*. – San Diego etc., 1988. – P.1-19.
 171. Harman G. H. *Some philosophical issues in cognitive science: Qualia, intentionality, a. the mind – body problem // Foundations of cognitive science*. – Cambridge (Mass.); L., 1989. – P.831-848.
 172. Harris R., Jarrett J. *Language and informal logic*. – N.Y., 1958. – VIII, 274 p.
 173. Hartig M. *Angewandte Linguistik des Deutschen: Soziolinguistik*. – Bern etc., 1985. – 209 S.
 174. Hasan R., Fries P. H. *Reflections on subject and theme: An introduction // On subject and theme: A discourse functional perspective*. – Amsterdam; Philadelphia, 1995. – P. XIII-XLV.

175. Haselager W. Cognitive science and folk psychology: The right frame of mind. – L. etc., 1997. – IX, 165 p.
176. Heath J. Some functional relationships in grammar // *Language*. – Baltimore, 1975. – Vol. 51, N 1. – P. 89-104.
177. Heath J. Functional universals // *Proceedings of the 4th annual meeting of the Berkeley linguistic society*. – Berkeley, 1978. – P. 86-95.
178. Heath J. Units in a functional grammar // *The elements: A parsession on linguistic units and levels: April 20-21, 1979: Including papers from the Conference on Non-Slavic languages of the USSR (April 18, 1979) – Chicago, 1979.* – P.52-59.
179. Heath J. Is Dyirbal ergative? // *Linguistics*. – The Hague, 1979. – Vol.17. – P. 401-463.
180. Heckhausen H. Emotional components of action: Their ontogeny as reflected in achievement behavior // *Curiosity, imagination, and play: On the development of spontaneous cognitive a. motivational processes.* – Hillsdale (N.J.); L., 1987. – P.326-348.
181. Hempel C. G. Aspects of scientific explanation and other essays in the philosophy of science. – N.Y.; L., 1965. – 505 p.
182. Herriman J. The indirect object in present-day English. – Göteborg, 1995. – VI, 292 p.
183. Himmelmann N. J. Morphosyntax und Morphologie: Die Ausrichtungsaffixe im Tagalog. – München, 1987. – 207 S.
184. Hjelmslev L. Sproget: En introduktion. – Kobenhavn, 1963. – 141 s.
185. Hjelmslev L. Essais linguistiques. – P., 1971. – 283 p.
186. Holly W. Politiksprache: Inszenierungen und Rollenkonflikte im informellen Sprachhandeln eines Bundestagsabgeordneten. – B.; N.Y., 1990. – XI, 406 S.
187. Hopper P. J. Emergent grammar // *Proceedings of the 13th annual meeting of the Berkeley linguistic society*. – Berkeley, 1987. – P. 139-157.
188. Hopper P. J., Thompson S.A. The discourse basis for lexical categories in universal grammar // *Language*. – Balt., 1984. – Vol.60, N 4. – P. 703-752.
189. Horton S. R. Interpreting interpreting: Interpreting Dickens's *DOMBEY*. – Baltimore; L., 1979. – XIII, 162 p.
190. Höhle V. Hegels System: Der Idealismus der Subjektivität und das Problem der Intersubjektivität. – Hamburg, 1988. – Bd. 2: Philosophie der Natur und des Geistes. – S. XII, 277-675.
191. Hudson R. A. Arguments for a non-transformational grammar. – Chicago; L., 1976. – X, 214 p.
192. Husserl E. Logische Untersuchungen. — 2. Aufl. – Halle (Saale), 1913. – Bd.2. Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis. T. 1. – XI, 508 S.
193. Hymes D. H. The ethnography of speaking // *Anthropology and human behavior*. – Wash. (D.C.), 1962. – P. 13-53.
194. Ikegami Y. Child language and poetic language // *Spracherwerb und Mehrsprachigkeit: Language acquisition a. multilingualism: Festschrift für Els Oksaar zum 60. Geburtstag*. – Tübingen, 1986. – P.3-10.
195. Isenberg H. Einige Grundbegriffe für eine linguistische Texttheorie // *Probleme der Textgrammatik*. – B., 1976. – S.47-145.
196. Jackendoff R. S. Semantic interpretation in generative grammar. – Cambridge (Mass.); L., 1972. – XII, 400 p.
197. Jackendoff R. S. Consciousness and the computational mind. – Cambridge (Mass.); L., 1987. – XVI, 356 p.
198. Jacob P. Fonctionnalisme et croyance // *La référence: Actes du Colloque de Saint-Cloud, Ecole Normale Supérieure de Saint-Cloud, 12-13 octobre 1984*. – P., 1987. – P.63-81.
199. Jacobsen B. Modern transformational grammar: With particular reference to the theory of government a. binding. – Amsterdam etc., 1986. – XV, 441 p.
200. Jäkel S. Konvention und Sprache: Eine sprachphilosophische Basis für Interpretationsexperimente demonstriert am Beispiel von Thomas Manns Roman 'Doktor Faustus'. – Turku, 1983. – 140 S.
201. Jakobson R. Current issues of general linguistics // *Roman Jakobson: On language*. – Cambridge (Mass.); L., 1990. – P.49-55.
202. Jakobson R. Linguistics and poetics // *Style in language*. – N.Y.; L., 1960. – P.350-395.
203. Jannidis F. Das Individuum und sein Jahrhundert: Eine Komponenten-und Funktionsanalyse des Begriffs 'Bildung' am Beispiel von Goethes "Dichtung und Wahrheit". – Tübingen, 1996. – VII, 230 S.
204. Jiménez-Ottalengo R., Paulín-Siade G. Apuntes para una sociolingüística de la interacción. – Mexico, 1985. – 89 p.
205. Jones D. The theory of phonemes and its importance in practical linguistics // *Readings in linguistics II*. – Chicago; L., 1966. – P.31-32.
206. Jones L. K. A synopsis of tagmemics // *Current approaches to syntax*. – N. Y. etc., 1980. – P.77-96.
207. Kaminsky J. Essays in linguistic ontology. – Carbondale; Edwardsville, 1982. – XI, 197 p.
208. Kant I. Kritik der reinen Vernunft / Hrsg. v. Schmidt R. – Leipzig, 1979. – XVI, 1022 S.
209. Katz J. J. Semantic theory. – N.Y., 1972. – XXVIII, 464 p.
210. Kay P. Language evolution and speech style // *Sociocultural dimensions of language use*. – N.Y., 1975. – P. 19-32.
211. Kjærgaard M. S. Metaphor and parable: A systematic analysis of the specific structure a. cognitive function of the synoptic similes a. parables qua metaphors. – Leiden, 1986. – 264 p.
212. Kövecses Z. Metaphors of anger, pride, and love: A lexical approach to the structure of concepts. – Amsterdam; Philadelphia, 1986. – VIII, 147 p.
213. Kronasser H. Handbuch der Semasiologie: Kurze Einführung in die Geschichte, Problematik und Terminologie der Bedeutungslehre. – Heidelberg, 1952. – 204 S.

214. Kuno S. Functional sentence perspective: A case study from Japanese a. English // Linguistic inquiry. – Cambridge (Mass.), 1972. – Vol. 3, N 3. – P. 269-320.
215. Kuno S. Three perspectives in the functional approach to syntax // Papers from the parasession on functionalism. – Chicago, 1975. – P.275-336.
216. Kuno S. Functional syntax: Anaphora, discourse a. empathy. – Chicago; L., 1987. – VIII, 320 p.
217. Kuroda S.-Y. Some thoughts on the foundations of the theory of language use // Linguistics and Philosophy. – Dordrecht etc., 1979. – Vol. 3, N 1. – P. 1-17.
218. Kuryłowicz J. L'apophonie en sémitique. – Wrocław etc., 1961. – 224 s.
219. Labov W. The overestimation of functionalism // Functionalism in linguistics. – Amsterdam; Philadelphia, 1987. – P.311-332.
220. Lacan J. Le séminaire de Jacques Lacan: Texte ét. par Miller J.-A. – P.: Seuil, 1991. – Livre 16. L'avers de la psychanalyse: 1969- 1970. – 252 p.
221. Lakoff G., Johnson M. Metaphors we live by. – Chicago; L., 1980. – XIII, 242 p.
222. Lakoff G., Turner M. More than cool reason: A field guide to poetic metaphor. – Chicago, 1989. – 450 p.
223. Lakoff R. T. Language and woman's place // Language in society. – L., 1973. – Vol. 2, N 1. – P. 45-80.
224. Lambrecht K. Information structure and sentence form: Topic, focus, a. the mental representations of discourse referents. – Cambridge, 1994. – XVI, 388 p.
225. Leckie-Tarry H. Language and context: A functional linguistic theory of register. – L.; N.Y., 1995. – XII, 178 p.
226. Leech G. N. Pragmatics and conversational rhetoric // Possibilities and limitations of pragmatics: Proc. of the Conference on pragmatics, Urbino, July 8-14, 1979. – Amsterdam, 1981. – P.413-441.
227. Leech G. N. Principles of pragmatics. – L.; N.Y., 1983. – XIII, 250 p.
228. Leech G. N. Stylistics and functionalism // The linguistics of writing: Arguments between language a. literature. – Manchester, 1987. – P.76-88.
229. Leech G. N., Short M.H. Style in fiction: A linguistic introduction to English fictional prose. – L.; N.Y., 1981. – XIII, 402 p.
230. Lévi-Strauss C. Anthropologie structurale. – P.: Plon, 1958. – 452 p.
231. Lewis D. K. Convention: A philosophical study. – Cambridge, 1969. – 213 p.
232. Lieb H.-H. The case for a new structuralism // Prospects for a new structuralism. – Amsterdam; Philadelphia, 1992. – P.33-72.
233. Longacre R. E. Some fundamental insights of tagmemics // Language. – Baltimore, 1965. – Vol. 41, N 1. – P., 65-76.
234. Lycan W. G. Introduction // Mind and cognition: A reader. – Oxford, 1990. – P.3-13.
235. Lyons J. Deixis as the source of reference // Formal semantics of natural language: Papers from a Colloquium sponsored by King's college research centre, Cambridge. – Cambridge etc., 1975. – P.61-83.
236. Lyons J. Semantics. – Cambridge. etc., 1977. – XIV, 897 p.
237. MacLaury R. E. Prototypes revisited // Annual review of anthropology. – Palo Alto, 1991. – Vol. 20. – P. 55-74.
238. Mahmoudian M. Présentation // Linguistique fonctionnelle: Débats et perspectives: Pour André Martinet. – P., 1979. – P.1-21.
239. Mair C. Dramatic dialogue between linguists and literary scholars?: Some remarks on Harold Pinter's "political" plays // Dialogische Strukturen: Dialogic structures: Festschrift für Willi Erzgräber zum 70. Geburtstag. – Tübingen, 1996. – S.290-307.
240. Malcolm N. Functionalism in philosophy of psychology // Malcolm N. Wittgensteinian themes: Essays 1978-1989. – Ithaca; L., 1995. – P.27-44.
241. Malinowski B. The problem of meaning in primitive languages // Ogden C.K., Richards I.A. The meaning of meaning: A study of the influence of language upon thought a. of the science of symbolism. — 2nd ed. – N.Y.; L., 1927. – P.296-336.
242. Malinowski B. The dilemma of contemporary linguistics // Language in culture and society: A reader in linguistics a. anthropology. – N.Y., 1964. – P.63-65.
243. Marslen-Wilson W. D. The limited compatibility of linguistic and perceptual explanations // Papers from the parasession on functionalism. – Chicago, 1975. – P.409-420.
244. Martin R. Pour une logique du sens. – P., 1983. – 268 p.
245. Martinet A. Elements of a functional syntax // Word. – N.Y., 1960. – Vol. 16, N 1. – P. 1-10.
246. Marty A. Untersuchungen zur Grundlegung der allgemeinen Grammatik und Sprachphilosophie. – Halle, 1908. – Bd. 1. – XXXII, 764 S.
247. Mates B. On the verification of statements about ordinary language // Philosophy and linguistics. L., 1971. – P.121-130.
248. McDowell J. H. Verbal dueling // Handbook of discourse analysis. – London etc., 1985. – Vol.2. Dimensions of discourse. – P.203-212.
249. McKeown K. R. Text generation: Using discourse strategies a. focus constraints to generate natural language text. – Cambridge, 1985. – X, 246 p.
250. Meyer F., Ort C.-M. Konzept eines struktural-funktionalen Theorienmodells für eine Sozialgeschichte der Literatur // Zur theoretischen Grundlegung einer Sozialgeschichte der Literatur: Ein struktural-funktionaler Entwurf. – Tübingen, 1988. – S.

- 85-171.
251. Meyer P. G. Sprachliches Handeln ohne Sprechsituation: Studien zur theoretischen und empirischen Konstitution von illokutiven Funktionen in "situationslosen" Texten. – Tübingen, 1983. – XII, 248 S.
 252. Mink L. O. Narrative form as a cognitive instrument // The writing of history: Literary form and historical understanding. – Madison, 1978. – P.129-149.
 253. Moeschler J. Dire et contredire: Pragmatique de la négation et acte de réfutation dans la conversation. – Berne; Frankfurt a. M., 1982. – VI, 220 p.
 254. Morgan J. L. Two types of convention in indirect speech acts // Pragmatics. – N. Y. etc., 1978. – P.261-280.
 255. Næs O. Versuch einer allgemeinen Syntax der Aussagen // Das Ringen um eine neue deutsche Grammatik: Aufsätze aus drei Jahrzehnten (1929-1959). — 3., durchsehene Aufl. – Darmstadt, 1973. – S.280-334.
 256. Neumaier O. The problem of criteria for language competence // Mind, language and society. – Vienna, 1984. – P.85-102.
 257. Nord C. So treu wie möglich?: Die linguistische Markierung kommunikativer Funktionen und ihre Bedeutung für die Übersetzung literarischer Texte // Linguistik und Literaturübersetzen. – Tübingen, 1997. – S.35-59.
 258. Norrick N. R. The lexicalization of pragmatic functions // Linguistics. – The Hague, 1979. – Vol. 17. – P. 671-685.
 259. Norrick N. R. Nondirect speech acts and double binds // Poetics – The Hague; P., 1981. – Vol. 10, N 1. – P. 33-47.
 260. Nunberg G. Syntactic relations in types and tokens // Papers from the 10th regional meeting of the Chicago linguistic society. – Chicago, 1974. – P.492-503.
 261. Nystrand M. Introduction: Rhetoric's "audience" and linguistics' "speech community": Implications for understanding writings, reading, a. text // What writers know: The language, process, a. structure of written discourse. – N. Y. etc., 1982. – P.1-28.
 262. Obermeier O.-P. Zweck-Funktion-System: Kritisch-konstruktive Untersuchung zu Niklas Luhmanns Theoriekonzeptionen. – Freiburg; München, 1988. – 356 S.
 263. Ogden C. K., Richards I.A. The meaning of meaning: A study of the influence of language upon thought and of the science of symbolism. – 2nd ed. – N.Y.; L., 1927. – XXII, 363 p.
 264. Ortega-y-Gasset J. El hombre y la gente. – Madrid, 1957. – 317 p.
 265. Ossner J. Konvention und Strategie: Die Interpretation von Äusserungen im Rahmen einer Sprechakttheorie. – Tübingen, 1985. – 208 S.
 266. Parret H. Prolégomènes a la théorie de l'énonciation: De Husserl à la pragmatique. – Berne etc., 1987. – VIII, 416 p.
 267. Pateman T. Language in mind and language in society: Studies in linguistic reproduction. – Oxford, 1987. – XIII, 194 p.
 268. Payne D. L. Meaning and pragmatics of order in selected South American Indian languages // The role of theory in language description. – Berlin; N.Y., 1993. – P.281-314.
 269. Peer W. V. Stylistics and psychology: Investigations of foregrounding. – L. etc., 1986. – XIII, 220 p.
 270. Perinbanayagam R. Signifying acts: Structure a. meaning in everyday life. – Carbondale; Edwardsville, 1985. – XV, 185 p.
 271. Pfau D., Schönert J. Probleme und Perspektiven einer theoretisch-systematischen Grundlegung für eine "Sozialgeschichte der Literatur" // Zur theoretischen Grundlegung einer Sozialgeschichte der Literatur: Ein struktural-funktionaler Entwurf. – Tübingen, 1988. – S.1-26.
 272. Pinker S. Resolving a learnability paradox in the acquisition of the verb lexicon // The teachability of language. – Baltimore etc., 1989. – P.13-61.
 273. Popper K. R. Conjectures and refutations: The growth of scientific knowledge. – N.Y.; L., 1962. – XI, 412 p.
 274. Posner R. Theorie des Kommentierens: Eine Grundlagenstudie zur Semantik und Pragmatik. – Frankfurt a. M., 1972. – X, 224 S.
 275. Probleme der semantischen Analyse / Autorenkollektiv unter der Leitung von Viehweger D. – B., 1977. – 405 S.
 276. Quasthoff U. M. Eine interaktive Funktion von Erzählungen // Interpretative Verfahren in den Sozial- und Textwissenschaften. – Stuttgart, 1979. – S.104-126.
 277. Quasthoff U. M. Erzählen in Gesprächen: Linguistische Untersuchungen zu Strukturen und Funktionen am Beispiel einer Kommunikationsform des Alltags. – Tübingen, 1980. – 244 S.
 278. Quasthoff U. M. Zuhöreraktivitäten beim konversationellen Erzählen // Dialogforschung. – Düsseldorf, 1981. – S.287-313.
 279. Raccach P.-Y. Sémantique épistémique et loi de prédominance de l'argumentation // Stratégies interactives et interprétatives dans le discours: Actes du 3me Colloque de pagmatique de Genève (27-28 février, 1er mars 1986). – Genève, 1986. – P.93-113.
 280. Rath R. Zur Legitimation und Einbettung von Erzählungen in Alltagsdialogen // Dialogforschung. – Düsseldorf, 1981. – S.265-286.
 281. Requin J. Les neurosciences cognitives: Au-delà du réductionnisme, une science de synthèse? // Comportement, cognition, conscience: La psychologie à la recherche de son objet: Symposium de l'Association de psychologie scientifique de langue française (Lisbonne, 1985). – P., 1987. – P.31-57.
 282. Richards I. A. Practical criticism: A study of literary judgment. 6th impression. – L., 1948. – XIII, 375 p.
 283. Ricoeur P. La métaphore vive. – P., 1975. – 414 p.
 284. Ricoeur P. Interpretation theory: Discourse and the surplus of meaning. – Fort Worth (Tex.), 1976. – XII, 107 p.

285. Robinson W. Language and social behaviour. – Harmondsworth (Middlesex), 1972. – 223 p.
286. Röttgers K. Spuren der Macht: Begriffsgeschichte und Systematik. – Freiburg; München, 1990. – 590 S.
287. Roulet E. Complétude interactive et mouvements discursifs // Stratégies interactives et interprétatives dans le discours: Actes du 3me Colloque de pragmatique de Genève (27-28 février, 1er mars 1986). – Genève, 1986. – P.189-206.
288. Roulet E. et al. L'articulation du discours en français contemporain. – Berne etc., 1985. – VII, 272 p.
289. Russell B. On denoting // Russell B. Logic and knowledge: Essays 1901-1950. – L., 1956. – P.41-56.
290. Russell B. The philosophy of logical atomism // Russell B. Logic and knowledge: Essays 1901-1950. – L., 1956. – P.178-281.
291. Russell B. An inquiry into meaning and truth: The William James lectures for 1940 delivered at Harvard University. – L., 1967. – 333 p.
292. Ryle G. The concept of mind. – L., 1949. – 334 p.
293. Ryle G. Use and usage // Philosophy and linguistics. – L., 1971. – P.45-53.
294. Sachs J., Goldman J., Chaile C. Planning in pretend play: Using language to coordinate narrative development // The development of oral and written language in social contexts. – Norwood (N.J.), 1984. – P.119-128.
295. Sanders G. A. Equational rules and rule functions in syntax // Current approaches to syntax. — New York etc., 1980. – P.231-266.
296. Schachter P. Parts of speech systems // Language typology and syntactic description. – Cambridge etc., 1985. – Vol.1: Clause structure. – P.3-61.
297. Schank R. C. Representing meaning: An artificial intelligence perspective // Text processing: Text analysis a. generation; text typology a. attribution. – Stockholm, 1982. – P.25-63.
298. Schneider W. L. Objektives Verstehen: Rekonstruktion eines Paradigmas: Gadamer, Popper, Toulmin, Luhmann. – Opladen, 1991. – 274 S.
299. Schneider W. L. Die Analyse von Struktursicherungsoperationen als Kooperationsfeld von Konversationsanalyse, objektiver Hermeneutik und Systemtheorie // Beobachtung verstehen, Verstehen beobachten: Perspektiven einer konstruktivistischen Hermeneutik. – Opladen, 1997. – S.164-227.
300. Schwartz M., Linebarger M., Safran E., Pate D. Syntactic transparency and sentence interpretation in aphasia // Lang. a. cognitive processes. – L. etc., 1987. – Vol .2, N 2. – P. 85-113.
301. Searle J. R. Speech acts: An essay in the philosophy of language. – Cambridge, 1969. – VII, 203 p.
302. Searle J. Contemporary philosophy in the United States // The Blackwell companion to philosophy. – Oxford, 1996. – P.1-24.
303. Seiler H. A functional view on prototypes // Conceptualizations and mental processing in language. – Berlin; N.Y., 1993. – P.115-139.
304. Shapiro M. The sense of grammar: Language as semeiotic. – Bloomington, 1983. – XI, 236 p.
305. Sicking C. Aspect choice: Time reference or discourse function? // Sicking C.M.J., Stork P. Two studies in the semantics of the verb in Classical Greek. – Leiden etc., 1996. – P. 1-118.
306. Siegfried K. Zur Natur kognitiver Störungen bei depressiven Erkrankungen // Persönlichkeit und Kognition: Aspekte der Kognitionsforschung: Festschrift zum 65. Geburtstag von Fritz Süllwold. – Göttingen etc., 1996. – S.134-152.
307. Sihler A. L. New comparative grammar of Greek and Latin. – N.Y.; Oxford, 1995. – XXIII, 686 p.
308. Silverstein M. Language structure and linguistic ideology // The elements: A parasession on linguistic units a. levels: April 20-21, 1979: Including papers from the Conference on Non-Slavic languages of the USSR (April 18, 1979) – Chicago, 1979. – P.193-247.
309. Silverstein M. The culture of language in Chinookian narrative texts; or, On saying that... in Chinook // Grammar inside and outside the clause: Some approaches to theory from the field. – Cambridge etc., 1985. – P.132-171.
310. Silverstein M. The three faces of "function": Preliminaries to a psychology of language // Social and functional approaches to language and thought. – Orlando etc., 1987. – P.17-38.
311. Silverstein M. The expanse of grammar in the "waste" of frames // The role of theory in language description. – Berlin; N.Y., 1993. – P.165-191.
312. Skinner B. Verbal behavior. – N.Y., 1957. – X, 478 p.
313. Smith P. M. Sex markers in speech // Social markers in speech. – Cambridge, 1979. – P.109-146.
314. Smith P. M. Language, the sexes and society. – Oxford; N.Y., 1985. – X, 211 p.
315. Sommerfeldt K.-E., Spiewok W. Zum Anliegen des Bandes // Beiträge zu einer funktional-semantischen Sprachbetrachtung. – Leipzig, 1986. – S.7-11.
316. Stankiewicz E. Linguistics, poetics, and the literary genres // New directions in linguistics and semiotics. – Amsterdam, 1984. – P.155-178.
317. Stankiewicz E. The concept of structure in contemporary linguistics // New vistas in grammar: Invariance a. variation. – Amsterdam; Philadelphia, 1991. – P.11-32.
318. Stassen L. Comparison and universal grammar. – Oxford; N.Y., 1985. – X, 373 p.
319. Stati S. Le transphrastique. – P., 1990. – 173 p.

320. Stenzel A. Die Entwicklung der syntaktischen Kategorien Nomen und Verb bei ein- und zweisprachigen Kindern. – Tübingen, 1997. – XIII, 247 S.
321. Sterelny K. Computational functional psychology: Problems and prospects // Computers, brains and minds: Essays in cognitive science. – Dordrecht etc., 1989. – P.71-93.
322. Sugioka Y., Faarlund J. T. A functional explanation for the application and ordering of movement rules // Papers from the 16th regional meeting of the Chicago linguistic society. – Chicago, 1980. – P. 311-322.
323. Sweetser E. E. From etymology to pragmatics: Metaphorical and cultural aspects of semantic structure. – Cambridge, 1990. – 212 p.
324. Tammi P. Kertojan ja henkilön diskurssista: Esimerkinä Marja-Liisa Vartion proosa // Teksti ja konteksti. – Pieksämäki, 1986. – P.25-61.
325. Tannen D. F. Spoken / written language and the oral / literate continuum // Papers from the 6th annual meeting of the Berkeley linguistic society. – Berkeley, 1980. – P. 207-218.
326. Taylor J. R. Linguistic categorization: Prototypes in linguistic theory. — 2nd ed. – Oxford, 1995. – 304 p.
327. The ubiquity of metaphor: Metaphor in language and thought. – Amsterdam, 1985. – X, 630 p.
328. Tolman C. W. Psychology, society, and subjectivity: An introd. to German critical psychology. – L.; N.Y., 1994. – X, 163 p.
329. Tomlin R. S. Basic word order: Functional principles. – L. etc., 1986. – XII, 308 p.
330. Toulmin S. The uses of argument. – Cambridge, 1958. – VI, 264 p.
331. Van Valin R. D. A synopsis of role and reference grammar // Advances in role and reference grammar. – Amsterdam; Philadelphia, 1993. – P.1-164.
332. Van Valin R. D., Foley W. A. Role and reference grammar // Current approaches to syntax. — N.Y. etc., 1980. – P.329-352.
333. Viehweger D. Semantische Merkmale und Textstruktur // Probleme der Textgrammatik. – B., 1976. – S.195-206.
334. Viehweger D. Struktur und Funktion nominativer Ketten im Text // Kontexte der Grammatiktheorie. – B., 1978. – S. 149-168.
335. Viehweger D. Pragmatische Voraussetzungen, deskriptive und kommunikative Explizität von Texten // Untersuchungen zum Verhältnis von Grammatik und Kommunikation. – B., 1979. – S. 81-100.
336. Vokeley K. Repräsentation und Identität: Zur Konvergenz von Hirnforschung und Gehirn-Geist-Philosophie. – B., 1995. – 341 S.
337. Volek B. Emotive signs in language and semantic functioning of derived nouns in Russian. – Amsterdam; Philadelphia, 1987. – XI, 270 p.
338. Vossenkuhl W. Anatomie des Sprachgebrauchs: Über die Regeln, Intentionen und Konventionen menschlicher Verständigung. – Stuttgart, 1982. – 214 S.
339. Voßler K. Positivismus und Idealismus in der Sprachwissenschaft: Eine sprachlich-philosophische Untersuchung. – Heidelberg, 1904. – VII, 98 S.
340. Vossler K. Gesammelte Aufsätze zur Sprachphilosophie. – München, 1923. – VIII, 272 S.
341. Wallace R. A., Wolf A. Contemporary sociological theory: Continuing the classical tradition. — 2nd ed. – Englewood Cliffs (N.J.), 1986. – XV, 336 p.
342. Warnock G. Morality and language. – Oxford, 1983. – VI, 218 p.
343. Watzlawick P., Beavin J. H., Jackson D. D. Pragmatics of human communication: A study of interactional patterns, pathologies, a paradoxes. – L., 1967. – 296 p.
344. Wavell B. B. Wittgenstein's doctrine of use // Synthese – Dordrecht etc., 1983. Vol. 56, N 3. – P. 253-264.
345. Weigand E. Sprache als Dialog: Sprechakttaxonomie und kommunikative Grammatik. – Tübingen, 1989. – XV, 368 S.
346. Wertsch J. V. Vygotsky and the social formation of mind. – Cambridge (Mass.); L., 1985. – XVIII, 262 p.
347. Whitney W. D. Language and the study of language: Twelve lectures on the principles of linguistic science. – N.Y., 1868. – XI, 489 p.
348. Wienold G. Types of language use: A notion relevant to the writing of literary history? // Poetics. – The Hague; P., 1985. – Vol. 14, N 3/4. – P. 345-363.
349. Wilkins D. An investigation into linguistic and situational content of the common core in a unit-credit system. – Strassbourg, 1973. – 148 p.
350. Williams E. S. Grammatical relations // Linguistic inquiry. – Cambridge (Mass.), 1984. – Vol. 15, N 4. – P. 639-673.
351. Wittgenstein L. Philosophical investigations: Philosophische Untersuchungen. – Oxford; N.Y., 1953. – X, 232 p.
352. Zubin D. A., Kopcke K.-M. Gender: a less than arbitrary grammatical category // Papers from the 17th regional meeting of the Chicago linguistic society. – Chicago, 1981. – P. 439-449.
353. Zubin D. A., Kopcke K.-M. Gender and folk taxonomy: The indexical relation between grammatical a. lexical categorization // Noun classes and categorization: Proc. of a symposium on categorization and noun lassification, Eugene, Oregon, October 1983. – Amsterdam; Philadelphia, 1986. – P.139-180.

В. З. Демьянков

ВИДЫ ИНФОРМАЦИИ В ДИСКУРСЕ

Современная концепция дискурса строится с учетом грамматики текста, прагматики дискурса, с вовлечением в анализ социальных факторов (мнения и установки коммуникантов, их этническая и социокультурная принадлежность и др.), с особым вниманием к личностным характеристикам носителей языка (намерения, чувства, эмоции и др.). Все эти экстралингвистические факторы активно действуют в процессах как порождения, так и восприятия дискурса. Поэтому особое внимание исследователей привлекают вопросы использования различных видов информации в дискурсе.

Определяя дискурс как сложное коммуникативное событие, Т.А. ван Дейк указывает, что интерпретация дискурсов выходит далеко за рамки буквального понимания самого высказывания (текста) (4). Так, понимание общего смысла высказывания явно недостаточно для определения коммуникативной направленности или установления своеобразной информационной связности дискурса. Для понимания дискурса, подчеркивает ван Дейк, необходимы самые разнообразные типы знаний — знание о мире, о ситуации, социальные знания и знание культуры. Е.С.Кубрякова отмечает, что в дискурсе отражается сложная иерархия различных знаний, наблюдаются особые стратегии отбора наиболее значимой информации, “значимой в данном контексте и для данных коммуникантов”⁶.

В настоящее время вопрос об участии и роли разных видов информации в дискурсе получает новый стимул и перспективы для более глубокого теоретически обоснованного исследования на базе когнитивной лингвистики.

Когнитивная лингвистика до настоящего времени занималась в основном лексической семантикой, взятой вне интерактивного процесса, в отрыве от динамики речи, дискурса. Разумеется, в рамках когнитивной лингвистики были проведены некоторые работы, приближающиеся к исследованию диалоговых явлений (24; 32). Однако эти работы не изменяют общее направление, базирующееся на семантических исследованиях (особенно лексико-семантических). Создается впечатление, что именно лексико-семантические исследования составляют сферу действия (компетенции) когнитивной лингвистики, тогда как дискурс относится к компетенции функциональной лингвистики.

В последнее время появились публикации работ, в которых предпринимаются попытки преодолеть разрыв между когнитивной лингвистикой и анализом дискурса (20; 21 и др.). Эти исследования отражают современную тенденцию к расширению концепции когнитивной лингвистики, что позволило бы включить в нее дискурсивный анализ. Предпосылки такого расширения были заложены в когнитивно ориентированном анализе дискурса в некоторых работах зарубежных авторов (17; 26; 40).

В анализ дискурса вовлекаются самые разнообразные виды информации, которые передаются высказываниями в процессе общения. В настоящее время признается нецелесообразным ограничивать информацию только той ее частью, которая излагается говорящим намеренно. Многие исследователи предлагают различать “коммуникативный материал” или то, что сообщается намеренно, в соответствии с интенцией автора и “информативный материал” — то, что может быть воспринято независимо от того, хотел ли этого говорящий (38, с.392). Следует отметить, что вопрос о видах информации, возможности их выделения и степени участия в дискурсе связан с тем, какую модель коммуникации выбирает исследователь (11). Так, в кодовой модели мысль или “информация” передается вербальным сообщением, которое в процессе коммуникации становится общей (разделенной) информацией. Этот процесс предполагает наличие значительного объема разделяемых, общих для участников знаний как части общего знания мира, а также идентичных знаний социокультурного характера. Информация здесь, по существу, заключается в сообщении о некотором положении дел.

⁶ См. обзор Е.С.Кубряковой в данном сборнике.

Внимание к семантико-прагматическим аспектам коммуникации и осознание их важности выдвинули на передний план проблему выводной информации. Сама постановка этой проблемы стала возможной на основе новой модели коммуникации — “инференциальной модели” (27; 39), построенной на принципе выводимости знания. В качестве исходного принимается положение о том, что предпосылкой общения является не желание человека передать информацию, а стремление сделать свои интенции понятными для других; содержание высказывания при этом не ограничивается собственно сообщением о положении дел, а может выражать дополнительную по отношению к пропозициональному содержанию информацию, например эмоции.

Третья модель коммуникации — интеракционная, по мнению М.Л.Макарова, полнее соответствует дискурсивной онтологии (11). Сущность коммуникации состоит не в передаче и выводе информации, а в “демонстрации смыслов”, не обязательно предназначенных для распознавания и интерпретации. Предполагается, что практически любая форма поведения (действие, отсутствие действия, речь, молчание и др.) в ситуации общения может быть коммуникативно значимой. Формы поведения обретают ситуативный смысл, становятся информативными и интерпретируются на основании прошлого опыта и социокультурных конвенций (2; 11; 38).

В этой связи различается информация, сообщаемая преднамеренно и информация, сообщаемая непреднамеренно (38). Первый тип информации вводится в коммуникативный процесс говорящим, который отбирает нужные смыслы, придает им коммуницируемую форму и сообщает их в соответствии со своими интенциями. Информация второго типа создается реципиентом, его восприимчивостью, избирательностью и способностью к интерпретации. Таким образом, реципиент может вывести смыслы, отличные от задуманных говорящим. Порождение смыслов и их интерпретация (информация на вводе и выводе) отличаются по способам осуществления этих операций и по типам участвующего в них форм когнитивного. Данная трактовка коммуникации и информации предполагает ситуативную привязанность речи, что выражается в привлечении широкого социокультурного контекста и фоновых знаний, конвенциональных по своей природе.

В дискурсе информации (всем ее видам) отводится важнейшая роль. Это обусловлено тем, что именно информация служит формой репрезентации действительности, объективного мира, локализирующего человеческий опыт (11). Информация замещает мир вещей и, как отмечает М.Л.Макаров, приобретает “вещественность”. Ценность информации возрастает по мере того, как она позволяет человеку когнитивно испытать, освоить действительность и на этой основе реорганизовать опыт. В дискурсе участники общения получают доступ к информации разных видов, овладевают ею и используют доступную им информацию в определенных целях, например обмениваются ею. В речевой деятельности информация приобретает важнейшее значение благодаря своей замечательной способности когнитивно запечатлеть реальный мир.

В дискурсе идет постоянная обработка информации, поступающей из самого дискурса, внутренних когнитивных запасов и внешней ситуации общения. В теоретически ориентированных исследованиях дискурса с определенной степенью условности проводится различие между эксплицитной, конвенциональной, буквальная информацией, имеющей языковое выражение, с одной стороны, и подразумеваемой, имплицитной, подтекстовой информацией, выводимой из этого же выражения в дискурсе, — с другой (3; 11, с.97; 12). Речь идет о соотношении в семантико-прагматической информации того, что говорится, и того, что подразумевается (16). Первый вид информации нередко связывают с пропозициональным смыслом или семантической репрезентацией, которая восстанавливается в процессе декодирования высказывания. Однако пропозиция, актуализированная в соответствии с намерением говорящего, не может быть выражена только посредством буквальных значений языковых единиц, составляющих высказывание. Для извлечения информации, соответствующей намерению говорящего, используются механизмы инференции. Совокупная семантико-прагматическая информация в дискурсе формируется в своей эксплицитной части и выстраивается в процессе декодирования языкового выражения в контексте. Выводная (инференционная) информация извлекается по-разному. Так, примером этого вида информации можно считать выводное знание, основанное на структуре умозаключения, используемое для восстановления полной пропозиции. Основаниями для других инференций могут служить различные аспекты внешнего и внутреннего контекста, знания социокультурного характера,

которые отображают опыт деятельности в сходных ситуациях, нормы и принципы языкового взаимодействия (8; 14; 34).

Важнейшим видом информации в дискурсе является интерсубъективная информация, которая связывается с представлениями коммуникантов о контекстуальных условиях актуализации высказываний в дискурсе (4). Когнитивно эта информация предваряет высказывание, а ее интерсубъективность основывается на прагматических пресуппозициях. Прагматическая пресуппозиция в наиболее широком смысле понимается как отношение между говорящим и уместностью высказывания в контексте (34), или связывается с понятием общих знаний. Характерно, что исследователи дискурса и языкового общения в целом обращаются к категории прагматической пресуппозиции, подчеркивая ее ориентированность на человека (14; 34).

Интерсубъективная информация как информация, данная в контексте и когнитивно освоенная коммуникантами, формирует прагматический универсум дискурса, необходимый для успеха коммуникации. В концепции Х.П.Грайса прагматический универсум включает ряд пропозиций, составляющих общее, разделяемое знание для говорящего и слушающего, — знание, которое они считают общим для себя (28; см также 8). Интерсубъективная информация, базирующаяся на общем фонде знаний и верований, является необходимой предпосылкой совместной деятельности в процессах порождения и понимания дискурса.

Однако общий фонд знаний не следует понимать как какое-то данное количество информации, которым в равной степени располагают все участники дискурса. Интерсубъективность информации заключается в том, что она устанавливается и поддерживается в каждом акте речи, при этом она постоянно меняет пресуппозиционный фонд и зависит от него. С точки зрения когнитивной лингвистики интерсубъективную информацию дискурса можно, по-видимому, определить как фонд прагматических пресуппозиций, включающий ряд предположений, допускаемых говорящим относительно того, что адресат принимает на веру (14). В терминологии Грайса, это называется “непротиворечивой информацией”, которая не обязательно входит в общий фонд знаний и верований участников общения до речевого взаимодействия, диалога (27). Более важным здесь является общая предрасположенность участников дискурса к восприятию такого рода информации. Участник речевого взаимодействия, говорящий, предполагает, что его информация, даже не входящая в общий фонд знаний, будет принята на веру слушающим, как само собой разумеющееся. С этой точки зрения интерсубъективная информация асимметрична в том смысле, что фонды знаний говорящего и слушающего не совпадают: говорящий заранее знает, а слушающий узнает некоторую часть информации в дискурсе. Индивидуальное знание коммуникантов — это непрерывно конструируемая и модифицируемая динамическая система данных (представлений, мнений, знаний), единая информационная база или тезаурус (6; 7). Для индивидов, вступающих в общение с разными установками, знаниями, целями, эмоциями, наличие интерсубъективной информации, общего знания, обязательно для того, чтобы общение имело место вообще.

В ходе речевой коммуникации участники общения извлекают из памяти и обрабатывают не только информацию, предоставляемую непосредственным контекстом, но, и информацию, хранящуюся на более глубоких уровнях памяти и являющуюся частью социокультурного контекста. Обобщенная информация о типах ситуаций и социокультурных контекстах хранится в памяти в виде фреймов, сценариев и ситуационных моделей. Их роль в дискурсе связывается с тем, что это не только информационные структуры, но и механизмы, объясняющие достижение понимания с использованием уже имеющегося предварительного знания (8; 34). В этой связи интересной представляется концепция М.Л.Макарова, согласно которой сценарии “в готовом виде” в памяти не хранятся (11, с.120). Применение сценария к анализу дискурса — это реконструкция. В дискурсе сценарий выстраивается по мере того, как в этом возникает необходимость, в процессе восприятия речи, чтобы осуществить интерпретацию дискурса, используя предшествующий опыт.

Информация, используемая в дискурсе, рассматривается как размещенная на разных уровнях памяти (37). По мнению исследователей, на первом уровне хранятся сложные эпизоды и длительные неинтерпретированные последовательности событий. Более важная для реконструкции сценариев информация хранится на втором уровне — это энциклопедическая информация в виде правил, норм, фреймов. На третьем уровне хранится социокультурная информация, приобретаемая человеком в течение длительного времени жизни в обществе. Эта информация репрезентируется макросценариями и дает представление о том, каким образом человек делает что-то. Четвертому уровню принадлежит абстрактная информация (сведения) о

причинах действий (см 37). Различают также эпизодическую информацию, которая связана с автобиографичностью памяти и основана на личном опыте человека и представляет собой сведения о событиях, свидетелем или участником которых был сам человек (41).

Тематическая информация присуща дискурсу как связному речевому произведению в разных формах, регистрах и типах общения. Тема дискурса предстает в виде макропропозиции или макроструктуры (19; 14) в отличие от темы отдельного высказывания/предложения, обычно представленной группой подлежащего. Тематическая информация реализуется в отдельных предложениях, и в этом отношении ее развертывание подчиняется принципу линейности речи.

Однако характерной особенностью тематической информации дискурса является ее глобальная, иерархическая (вертикальная) организация (10; 13; 19). У глобальной темы дискурса есть свой психологический коррелят — когнитивная схема, определяющая планирование, производство, восприятие и понимание дискурса, хранение тематической информации и ее воспроизведение (5; 22).

Когнитивная схема выступает как базовая структура репрезентации знаний о предметно-референтной ситуации. М.Л.Макаров отмечает, что в любом диалоге прямо или косвенно дается репрезентация структуры референтной ситуации, происходят дискретизация объектов и отношений, приписывание определенных признаков (11, с.122). Референтная ситуация тематизируется, становится предметом общения и источником наращивания и развития текстовой информации об объектах, сущностях, событиях и отношениях между ними в дискурсе.

Контекстуализирующая информация, как правило, открывает дискурс, предшествует введению темы: субкодовая информация (19); ключи контекстуализации (23). Важность этого вида информации определяется принципом линейности речи: в дискурсе есть начало, продолжение и конец. Информация, помещенная в начало дискурса, определяет тематическую, интенциональную направленность на предметную сферу, задает рамки его возможной интерпретации, т.е. дает дискурсу основание/обоснование (grounding; с.8). Информация предвещающая последующие высказывания, становится речевым контекстом, оказывает большое влияние на обработку дискурсов адресатом/слушающим. Начало дискурса вводит нас в некоторый возможный мир и связанный с ним общий фонд знаний, верований и социокультурных конвенций. Вводная информация этого вида активизирует установки, ожидания слушающих относительно продолжения дискурса.

Не только собственно информация, но и способ ее введения контекстуализируют последующий дискурс. Это имеет отношение к выбору стиля, диалекта, интонации и др. Формальное обращение как правило задает соответствующие ожидания, настраивает на формальный стиль общения. Получив эту субкодовую информацию, слушающий может оперировать выводной информацией, понимать имплицитные смыслы. Информация этого вида вносит изменения в фонд знаний слушающего, подготавливает его к последующей интерпретации дискурса. Таким образом, информация, сообщаемая в начале дискурса, задает также и стиль общения, и его тональность.

Особого внимания заслуживает социально-дейктический вид информации, выделяемый М.Л.Макаровым как специфическая дискурсивная информация (11, с.150). Обоснованность выделения этого вида информации связывается с тем, что некоторые исследователи считают необходимым использовать понятие “социальный дейксис”, как и дейксис текста или дискурса, в добавление к дейксису лица, времени и места (14; 34). Социальный дейксис имеет отношение к тем аспектам предложений, которые отражают, устанавливают или обусловлены реальностями социальной ситуации, речевого акта. Большинство специалистов считают, что социальный дейксис указывает на отношение говорящего к адресату и к референту, на степень социальной дистанции между участниками общения. Степени дистанции психологически коррелируют с отношениями солидарности и власти или подчинения (11, с.149).

Различается относительная социально-дейктическая информация, дающая представление о социальной дистанции по четырем осям: к реферату, адресату, слушателям или присутствующим, а также к ситуации в целом (14). Кроме относительной выделяется также абсолютная социально-дейктическая информация — символы социальных ролей участников дискурса, имеющих в рамках данного института особый статус и позиционные полномочия (34, с.91). Важным речевым средством выражения социально-дейктической информации являются обращения, в которых воплощаются как предыдущий личный опыт говорящего, так и его intersубъективная интерпретация ситуации общения.

Специфическая текстовая информация в естественном дискурсе (примером может служить повествовательный текст — нарратив) — это информация, хранимая в ментальных репрезентации, созданных читателем на основе текста и общего знания. Предполагается, что читатель не просто устанавливает связи между словами в тексте, но делает выводы о когнитивно-созданных единствах в когнитивно-построенных мирах (22, с.6).

К.Эммот разрабатывает концепцию, согласно которой читатели, обрабатывая информацию повествовательного текста, создают и используют ментальные репрезентации физических контекстов в мире художественного произведения (вымышленного мира), поддерживающие знание читателя о местоположении персонажа в группе участников событий и о положении такой группы в пространственно-временной рамке текста. Прототипические формы художественных повествовательных текстов требуют, чтобы читатель рассматривал персонажи как “воплощенные/олицетворен-ные” в когнитивно конструируемых вымышленных контекстах. В предлагаемой концепции важным являются не воплощение в “тело”, а осведомленность человека, владение информацией о других людях и сущностях в одном и том же физическом контексте. При обработке фрагментов текста с единой пространственно-временной рамкой читатель не может обойтись без когнитивного конструирования релевантного контекста для информации, передаваемой каждым отдельным предложением. Поэтому, несмотря на то, что предложение соотносится только с некоторым фрагментом контекста, читатель мысленно создает контекстуальный гештальт, а не интерпретирует изолированное предложение. При такой интеграции персонажей в контексте читатели могут использовать общее знание (например, о совместном присутствии), чтобы сделать вывод о результатах взаимодействия/воздействия персонажей.

Специфически текстовая информация вводится, расширяется и хранится в памяти как релевантная для определенного текста. В процессе интерпретации любого повествования читатель должен удерживать в памяти информацию об отношениях между отдельными сущностями в мире данного произведения. Текстовая информация играет ту же роль, что и “разделяемое знание”, специфическое для отдельных сообществ и индивидов, на которое полагаются участники в повседневном общении (18; 34). В наиболее естественных формах нарратива (коротких рассказах и романах) текстовая информация должна сохраняться в памяти и использоваться по мере того, как читатель обрабатывает все более объемные части текста. Эта информация играет существенную роль в когнитивной деятельности человека, связанной с чтением и пониманием.

Текстовая информация расширяется по мере обработки текста за счет аккумуляции разных видов знания. Так, читатель может накапливать информацию о некоторых персонажах как о родственниках или знакомых, устанавливать связь между персонажем и значимыми сущностями в рассказе. Специфически текстовая информация включает также сведения о главных персонажах как более важную, чем информация о второстепенных персонажах, связываемых с определенным сценарием (например, официант в сценарии “посещение ресторана”). Исследователи отмечают также необходимость “прослеживать” намерения персонажа на протяжении всей истории, чтобы понять мотивацию его поступков (15; 35).

Таким образом, если в рассмотрение включаются довольно протяженные отрезки текста, обработка которых требует удержания в памяти специфически текстового знания/информации, то становится очевидным, что со стороны читателя требуется значительная когнитивная деятельность. С этим связаны не только создание и хранение этой информации, но и ее использование для получения выводной информации. Это вполне естественно, так как собственно чтение как раз и заключается в том, чтобы помнить уже прочитанное. Однако, как отмечает К.Эммот, только в последнее время стали осознавать, насколько эта информация необходима для интерпретации некоторых грамматических явлений (23). Характерно, что данный вид специфически текстовой информации, по существу, представляет собой знание о сущностях, которое остается постоянным в значительных по протяженности отрезках текста или на протяжении всего произведения.

Другой вид текстовой информации выделяется на том основании, что знание этой информации читателем релевантно только в отдельных случаях. Для описания этой информации полезным оказывается понятие “эпизодической” памяти, проявляющей, как читатель устанавливает связи между сущностями в специфических контекстах по какому-нибудь признаку (41). Так, на протяжении всего текста (например, романа) персонажи группируются и перегруппируются, оказываются вместе, но устанавливаемые при этом связи релевантны только для данного контекста. Обычно имеется в виду, что персонажи физически присутствуют в

одном и том же месте, но не обязательно в одно и то же время. Предшествующая контекстуальная конфигурация может быть активирована эксплицитным упоминанием одного (или более) контекстуальных параметров. К.Эммот пишет в этой связи о языковых механизмах переключения контекстов и активизации специфически текстовой информации — референции к месту и времени события и местоименной референции (22, с.14).

Важно при этом, что читатель не просто “выводит” референт с помощью языковых механизмов и общего знания. Вместе этого языковые механизмы активируют “контекстуальную рамку” текстовой информации, которая была заложена в памяти, чтобы активироваться в процессе обработки по мере надобности. Термин “контекстуальная рамка” (в терминологии К.Эммот) в определенной степени обнаруживает сходство с термином “ментальное пространство” (в терминологии Ж.Фоконье — см.25). Понятие ментального пространства оказывается полезным для исследования дискурса при анализе примеров, состоящих из одного предложения с небольшим предшествующим контекстом. Однако для современных исследований дискурса более актуальными признаются вопросы о том, как создается, хранится и используется информация в объемных фрагментах дискурса. Когнитивная деятельность раскрывается более полно, когда в процесс интерпретации вовлекается информация из предшествующего (данному фрагменту) дискурса. Это направление исследований требует решения ряда проблем, связанных с тем, как выстраиваются ментальные репрезентации персонажей и их взаимоотношений в больших фрагментах дискурса/текста, как создаются эпизодические контекстуальные связи, как они хранятся и используются (см.: 23,29,30,36).

Проведенные исследования показывают, в частности, что для обработки прототипического нарративного текста необходимо построить контекстуальные фреймы. Так, если фрагмент текста описывает участников/персонажей в определенном контексте, излишним и ненужным было бы упоминание всех участников и всех параметров пространственно-временной рамки в каждом предложении. В каждом предложении упоминается только часть контекстуальной информации.

Читатель “запоминает пробелы”, используя хранящуюся в памяти информацию о предшествующем тексте. Таким образом читатель выстраивает контекстуальные репрезентации для каждого отдельно предложения на уровне дискурса. Создается впечатление совместного присутствия в эпизоде эксплицитированных и скрытых участников, что побуждает читателя делать выводы и пользоваться выводной информацией.

Следует отметить также, что расширение когнитивной лингвистики на анализ дискурса позволяет также представить типологические особенности текстов в когнитивной перспективе. Различия в типах текстов связываются с различиями в способах/типах обработки информации, с особенностями когнитивной деятельности. К.Эммот различает “рамочные” и “нерамочные” тексты (22). В первом типе текстов некоторая рамка/фрейм сохраняется на протяжении всего текста и в процессе обработки происходит кумулятивная интеграция контекстуальной информации, выводимой из последовательности предложений. Тексты второго типа не требуют совершения операций по построению единой контекстуальной рамки, так как в тексте этого типа могут быть представлены фрагменты неинтегрированных контекстов.

Термином “нерамочный” текст объединяются разные виды текстов, общим для которых являются наличие обобщенных утверждений и описание привычных действий. Эти тексты построены по образцу описательных текстов, в которых широко используются противопоставления и сравнения. Существенные различия в организации указанных типов текстов дают основание полагать, что они различаются и по когнитивной обработке. Исследователи дискурса неоднократно подчеркивали сложность описательных нарративных текстов (31). В то же время прототипический повествовательный текст, включающий последовательность событий в специфическом физическом (естественном) контексте, продолжает оставаться недостаточно исследованным. Данные, полученные на основе риторического анализа указывают, что отличительной чертой прототипического нарратива является репрезентация последовательности событий (22). Риторический подход позволил достаточно основательно описать специфику структуры и функционально-прагматические характеристики описательного текста. Что касается прототипического нарратива, то простое указание на последовательность событий в нем не раскрывает всей сложности этого вида текста. Только когнитивно ориентированные исследования дают представление о информации, задействованной в процессе обработки этих текстов, об огромном объеме когнитивной работы, производимой читателем, чтобы построить соответствующие контексты, извлечь выводную информацию и использовать ее в репрезентациях персонажей, сущностей, событий.

В заключение хотелось бы отметить, что в обзоре проведен анализ далеко не всех исследований по предложенной теме. Соответственно, рассмотренные виды информации не исчерпывают всего возможного разнообразия информации, вовлекаемой в дискурсивную деятельность. Однако даже на этом небольшом по объему материале можно проследить общий интерес исследователей к вопросам взаимодействия разных типов знания, разных видов информации и когнитивных структур в дискурсе, тенденцию к переосмыслению традиционных когнитивных категорий в дискурсе, к выдвиганию в центр внимания социокультурной информации.

Список литературы

1. Богданов В.В. Текст и текстовое общение. — СПб., 1993. — 171 с.
2. Богданов В.В. Молчание как нулевой речевой акт и его роль в вербальной коммуникации // Языковое общение и его единицы. — Калинин, 1986. — С.12-18.
3. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. — М., 1981. — 139с.
4. Дейк Т.А. ван. Язык. Познание. Коммуникация. — М., 1989. — 311 с.
5. Дейк Т.А. ван, Кинч В. Стратегии понимания связного текста // Новое в зарубежной лингвистике. — М., 1988. — Вып.23. — С.153-211.
6. Залевская А.А. Информационный тезаурус человека как база речемышлительной деятельности // Исследования речевого мышления в психолингвистике. — М., 1985. — С. 150-171.
7. Каменская О.Л. Текст и коммуникация. — М., 1990. — 151 с.
8. Краткий словарь когнитивных терминов / Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Лузина Л.Г., Панкрац Ю.Г. — М., 1996. — 258 с.
9. Кубрякова Е.С. Память и ее роль в исследовании речевой деятельности // Текст в коммуникации. — М., 1991. — С.4-21.
10. Лузина Л.Г. Распределение информации в тексте: Когнитивный и прагма-стилистический аспекты. — М., 1996. — 139 с.
11. Макаров М.Л. Интерпретативный анализ дискурса в малой группе. — Тверь, 1998. — 1998. — 200 с.
12. Молчанова Г.Г. Семантика текста: Имплицитный аспект. — Ташкент, 1986. — 135 с.
13. Романов А.А. Системный анализ регулятивных средств диалогического общения. — М., 1988. — 38 с.
14. Brown V., Yule G. Discourse analysis. — Cambridge, 1983. — 411 p.
15. Bruce V. Analysis of interacting plans as a guide to the understanding of story structure // Poetics. — Amsterdam, 1980 — Vol. 9., №1. — P. 295 — 311.
16. Carston R. Implicature, explicature, and the truth-theoretic semantics // Mental representations: Interface between language and reality. — N.Y. 1988. — P.155-188.
17. Chafe W. Discourse, consciousness and time. — Chicago, 1994. — 311 p.
18. Clark H. Arenas of language use. — Chicago, 1992. — 374 p.
19. Dijk T.A. van. Studies in the pragmatics of discourse. — The Hague, 1981. — 271 p.
20. Discourse and perspective in cognitive linguistics / Ed. By Liebert W.A. e. A. — Amsterdam, 1997. — 271 p.
21. Discourse studies in cognitive linguistics / Ed. By Hoek K. van. E. A. — Amsterdam, 1997. — 187 p.
22. Emmott C. Embodied in a constructed world: Narrative processing, knowledge representation, and indirect anaphora // Discourse studies in cognitive linguistics. — Amsterdam, 1997. — P. 5-27
23. Emmott C. Frames of reference: Contextual monitoring and narrative discourse // Advances in written text analysis. — L., 1994. — P. 157-166.
24. Fauconnier G., Turner M. Conceptual integration networks // Cognitive science. — Amsterdam, 1988. — Vol. 22, №— P. 13-187.
25. Fauconnier G. Mental spaces. — Cambridge, 1994. — 217 p.
26. Cicon T. Functionalism and grammar. — Amsterdam. 1995. — 290 p.
27. Grice H.P. Presupposition and conversational implicature // Radical pragmatics. — N.Y., 1981. — P. 183-198.
28. Grice H.P. Logic and conversation // Syntax and semantics. — N.Y., 1975. — Vol. 3: Speech acts. — P.41-58.
29. Hoek K.van. Conceptual Locations for reference in American sign Language // Spaces, worlds and grammar. — Chicago, 1996. — P.334-350.
30. Hoek K.van. Anaphora and conceptual structure. — Chicago, 1997. — 171 p.
31. Hoey M. On the surface of discourse. — L.,1983. — 111 p.
32. Langacker R. Conceptual grouping and pronominal anaphora // Studies in anaphora. — Amsterdam, 1996. — P. 333-378.
33. Lehnert W.G. The role of scripts in understanding // Frame conceptions and text understanding. — Berlin; N.Y., 1980. — P.75-95.
34. Levinson S.C. Pragmatics. — Cambridge, 1983. — 311 p.

35. Ryan M.-L. Possible worlds: Artificial intelligence and narrative theory. — Bloomington, 1996. — 377 p.
36. Sanders J., Redeker G. Perspective and representation of speech and thought in narrative discourse // Spaces worlds and grammar. — Chicago, 1996. — P. 290-317.
37. Schank R.C. Depths of knowledge and representation. — L; 1982. — P. 170-193.
38. Schiffrin D. Approaches to discourse, — Oxford, 1994. — 314 p.
39. Sperber D., Wilson D. Relevance: Communication a. cognition. — Oxford, 1995. — 279 p.
40. Tomlin R. Focal attention, voice, and word order: An experimental cross-linguistic study // Word order in discourse. — Amsterdam, 1994. — P. 517-554.
41. Tulving E. Elements of episodic memory. — Oxford, 1983. — 111 p.

Л.Г.Лузина

ЯЗЫК — ТЕКСТ — КУЛЬТУРА

Взаимодействие и взаимовлияние языка и культуры стали в последние годы областью интенсивных исследований. В языкознании эта ситуация способствовала возникновению ряда новых дисциплин, развивающихся на пересечении разных сфер гуманитарного знания. Так, возникла лингвокультурология, использующая данные и методы лингвистики, культурологии, психологии. Изучение языковых единиц с точки зрения обозначаемых ими денотатов — предметов, явлений социальной жизни и исторических событий, составляющих специфику языка и культуры страны, дало начало теории и практике отдельной отрасли лексикографии — составлению лингвострановедчески ориентированных словарей. Продолжает также интенсивно развиваться этнолингвистика, исследующая корреляции культуры и языка в диахроническом аспекте и в связи с репрезентацией картины мира фольклором определенного региона.

В контексте этой проблематики, восходящей к философским и лингвистическим взглядам В.фон Гумбольдта и Й.Л.Вейсгербера, язык рассматривается как “универсальное, идущее через века коллективное сознание, в системе которого определенная культура пытается себя реализовать, познать, в формах которого она пытается совершить свое субъективное высказывание” (24, с.21).

С другой стороны, в современном гуманитарном знании закрепилось представление о тексте как центральном звене, связывающем язык и культуру. Такой подход подготовлен как работами французской семиологической школы (Р.Барт, Ж.Деррида и др.), исследовавшей текст как пространство, в котором происходит образование смыслов (3), так и достижениями отечественной семиотической школы (Ю.М.Лотман, В.В.Иванов, Б.А.Успенский и др.). По Ю.М.Лотману, одной из важнейших функций текста, наряду с функциями передачи сообщения и сообщения о самом языке, является конденсация текстом культурной памяти. Под этим термином понимается способность текста накапливать информацию, сохраняя в себе свои предшествующие контексты. Так, в восприятии и сознании современных читателей “Гамлет” — это не только текст В.Шекспира, но также и его интерпретации в переводах, театральных постановках, экранизациях. Таким образом, смысловое пространство текста постоянно расширяется во времени, вступая в отношения с культурной традицией, и именно культурная активность текста является условием его жизни в веках и его же собственной динамики. Новые, “будущие” контексты создают резерв для развития текста, инкорпорирования им новых смыслов, что, в свою очередь, провоцирует динамику культуры (16). Поэтому в дихотомии “текст — культура” каждый из элементов проявляет активность в отношении другого.

Но текст также является активным элементом и в дихотомии “язык — текст”, так как язык не только создает тексты, но сам претерпевает в текстообразовании качественные изменения. Именно в тексте слово приобретает свободу от правил языковой системы и становится представителем множества текстов, которые хранятся в памяти носителей языка в конденсированном виде (19).

В исследованиях текста и его места в культуре важным свойством объекта признается интертекстуальность, понимаемая, в самом общем виде, как “перекличка” текстов, их диалог, маркированный определенными сигналами. При подобном подходе может “сняться” различие кодов, и вербальные и невербальные произведения исследуются как коррелирующие друг с другом и в значительной степени изоморфные знаковые системы, несущие в себе знаки определенных культурных эпох и направлений. Так, Л.И.Таруашвили, проанализировав тексты, принадлежащие к самым разным семиотическим системам (архитектура, живопись, вербальные произведения), показал значимость для европейской культуры понятий “тектоника” и “атектоника”, обозначающих, соответственно, чувственно-наглядный образ стабильности и его противоположность — образ неустойчивости и подверженности внешним воздействиям, таким

как сила тяготения, движение воды и ветра и т.д. Было показано также и общее направление динамики этих категорий в истории европейской культуры — от явного предпочтения тектоники мировосприятием античного человека к утверждению ценности атектоничных образов в культуре последующих эпох (26).

Интертекстуальность оказывается непосредственным образом связанной со способностью текста генерировать новые смыслы. С точки зрения данной онтологической способности текста понятие интертекстуальности уточняется и видоизменяется в зависимости от фокуса внимания исследователя. Так, если в культурологическом плане интертекстуальность соотносима с памятью культуры, по Ю.М.Лотману (16), то с точки зрения теории информации интертекстуальность есть способность увеличивать информацию, извлекая ее из других текстов. В рамках семиотики можно говорить о значимости текста, выявляемой через его соотнесенность с другими элементами семиотических систем. В аспекте теории референции интертекстуальность — это полиреферентность текста по отношению к действительности и к другим текстам. Из параметров интертекстуальности выводятся характеристики интертекста — множества текстов, изучать которые можно, лишь учитывая соотношение частей во времени и пространстве. Важнейшей характеристикой интертекста, наряду с его востребованностью носителями языка и культуры, является временной вектор, который придает упорядоченность его компонентам. Один и тот же компонент интертекста существует в разные периоды времени как прототекст, т.е. базовый текст, с опорой на который создаются новые тексты, и как метатекст, выполняющий функцию интерпретации других компонентов интертекста (14).

Временной фактор существенно влияет на характер соотношения компонентов интертекста, в частности, на способы включения в текст фрагментов других текстов, которые существенно различаются в зависимости от исторических типов культуры. “Заемствования” из прототекстов не всегда носили характер прямой цитации. Принцип цитации развился в культурах, в которых действуют сакральные тексты, приписываемые божеству и воспроизводимые в инвариантной форме. В этих культурах в полной мере действует феномен авторства, распространяющегося на культурные артефакты. Но в дописьменных и младодписьменных культурах принцип цитации не действует, как утверждает А.Циммерлинг, исследовавший древнескандинавскую литературу — скальдическую поэзию и скандинавские саги (32). Традиция скальдической поэзии, ориентированная на активное воспроизведение формульных сентенций, часто равнявшихся целым строчкам или кеннингам, быстро превращала индивидуальные находки в клише. В скандинавских сагах формульные сентенции, примененные к конкретным ситуациям, работают как прогноз, подобно тому, как это происходит в современной повседневной речи с приметам и поговорками, выражающими “общие истины” (там же).

В исследованиях взаимодействия текста и культуры присутствуют дихотомии “текст — дискурс” и “текст — произведение” (10; 14). М.Я.Дымарский считает, что коренное отличие дискурса от текста, существующего во времени-пространстве культуры, состоит в “привязанности” первого к реальному времени, в котором он протекает. В отличие от текста дискурс не является генератором смыслов и накопителем информации. Согласно такому пониманию, можно говорить о приложимости понятия дискурсивности к разным типам текстов и о шкале дискурсивности. В целом, по мнению М.Я.Дымарского, данное понятие по отношению к художественным текстам, особенно классического направления, неприменимо. Не-художественные тексты в той или иной степени “внутренне дискурсивны” (10, с.24), т.е. привязаны к конкретному физическому времени. Однако в этом плане различаются научная статья и газетная заметка, направленная на “злобу дня”. Отдельная сторона проблемы — применимость понятия дискурсивности к модернистским и постмодернистским художественным текстам с характерной для них отчетливой имитацией дискурсивного процесса. Однако и в данном случае автором создается текст, предназначенный для существования в семиотическом времени-пространстве, в то время как имитация дискурса работает лишь в качестве приема. Вместе с тем тексты модернистского и постмодернистского направлений требуют коррекции исследовательской стратегии (там же).

Особое место в исследованиях по проблематике “язык — текст — культура” занимает вопрос о роли художественного языка и художественного текста в культуре. По утверждению Л.В.Щербы, речевая деятельность в принципе является “речетворчеством, обусловленным правилами “языковой системы” данного языка” (33, с.104). Творческая природа языка и речевой деятельности определяет потенциал слова, полностью проявляющийся в поэтическом языке и в художественных текстах (8). М.М.Гиршман, напоминая слова М.М.Бахтина о том, что “поэту

язык нужен весь” (цит. по: 6, с.89), отмечает, что язык и личность находятся в состоянии диалога: каждый человек нуждается в языке как “духовной почве своего самоосуществления” (там же, с.90), но и язык нуждается в каждом говорящем на нем человеке для реализации всего своего потенциала. Поэтому каждый новый поэтический текст — это, в известном смысле, новый язык, вбирающий в себя все предшествующие слова и контексты их употребления. Подобно тому, как текст не дан как нечто замкнутое в себе и обладающее неизменным смыслом, поэтический образ мира не дан в поэтическом тексте как готовый и статичный. Он трансформируется благодаря тому, что осуществляются новые авторские и читательские интерпретации.

Анализируя отношения художественного языка и культуры, исследователи отмечают, что и характер порождения и восприятия текстов, и взаимодействие текстов и знаковых систем в семиотическом времени-пространстве культуры в значительной степени определены социокультурными причинами.

Исследование Н.Т.Рымаря основано на разграничении понятий “язык”, “язык искусства” и “язык культуры”, которые анализируются с точки зрения их статичности и динамичности (24). Естественный человеческий язык, подобно другим материалам, которыми пользуется творческая личность, тяготеет к стабильности и при этом оказывается активной силой, навязывающей творцу определенные правила деятельности. Язык культуры понимается как система представлений, посредством которых человек осмысливает жизнь и ориентируется в социуме (идеи, мифы коллективного сознания, “общие места” и мотивы культуры), а также как система форм деятельности и поведения. Культура, хотя в принципе она изменчива, все же есть упорядочение телесной и духовной жизни. Внутри культурного сообщества представления и формы деятельности носят конвенциональный характер. Язык искусства, в том числе и художественный язык, формируется и существует во встрече установок культуры с материалом. При этом художник должен преодолевать и “сопротивление материала”, и границы, накладываемые культурой, находясь одновременно в диалоге с каждой из этих сущностей. Искусство есть основное средство преодоления этих границ и придания подвижности культуре. Характерны приводимые в (24) дефиниции искусства, представленные в современных культурологических и искусствоведческих работах: “искусство как “культура культуры”, “искусство — “самосознание культуры”, “искусство — “самопознание культуры” (там же, с.22).

В пространстве культуры связанными между собой оказываются тексты, принадлежащие к разным литературным направлениям и речевым практикам. Е.В.Сергеева анализирует языковые характеристики русского религиозно-философского и поэтического дискурсов конца XIX — начала XX в. (25). Уже предварительное сопоставление свидетельствует о значительном сходстве языковых картин мира философов и поэтов-символистов русского “серебряного века”, за которым стоит общность базовых концептов. Ими в обоих случаях являются понятия, эксплицируемые лексико-семантическими полями “божественное”, “небесное”, “любовь”, “творчество” vs “темное”, “низменное”. Ядерными компонентами этих полей являются лексемы “Бог”, “душа”, “любовь”, “свобода”, “музыка” и т.д. Такая общность дискурсов имеет под собой определенные историко-культурные основания. Поэтическое творчество и теоретические воззрения русских поэтов-символистов связаны с философскими трудами В.С.Соловьева и его последователей — С.Булгакова, П.Флоренского, Е.Трубецкого и др. Понимание поэзии символистов, которую они сами рассматривали как теургию и преображение мира, неотделимо от понимания философских основ их творчества. С другой стороны, произведения русских религиозных философов этого времени, и прежде всего произведения самого В.С.Соловьева, представляют собой особый тип текста, который, по мнению Е.В.Сергеевой, может быть назван научно-художественным. Они характеризуются, на фоне нейтральной лексики и научной терминологии, приращением смысла слов, свойственным поэтическому типу текста, и несут на себе печать авторской индивидуальности. Сплав признаков дает основание говорить о единстве поэтического языка, языка философии и выражаемых ими мировоззрений.

Предложенный угол зрения может быть полезен при исследовании текстов разных литературных направлений и их взаимодействия с другими речевыми практиками, в том числе и с повседневной речью, так как позволяет выявить закономерности формирования интертекста в разных точках времени-пространства культуры.

Во времени-пространстве культуры художественный текст оказывается связанным с невербальными семиотическими системами и, как и они, воплощает в себе знаки мировосприятия и мировоззрения определенной эпохи. А.А.Фаустов (28) исследует язык русской поэзии с конца XVIII до середины XIX в. на фоне современного ей соматического

языка культуры. Под соматическим языком понимаются роль и соотношение телесных — визуального, звукового и тактильного — модусов мировосприятия, закодированных в семиотических системах.

Отмечается, что начало указанного периода — конец XVIII в. — совпало со временем кризиса слова, напрямую связанного с кризисом просветительской идеи. Отсюда — стремление “построить такую “риторическую машину”, которая обошлась бы без слова или позволила бы выявить некий его предел, где оно сталкивается с чем-то уже невыразимым” (там же, с.92), как, например, в финальной немой сцене гоголевского “Ревизора”. Поэтому в этот период поэтическое слово заменяется или дополняется оптическим фактом, происходит как бы его визуализация. Основы для возможности такого сдвига в пределах самого вербального кода заложены в семантической структуре слова, в которой сосуществуют два компонента, — интенциональный, или понятийный, и экстензиональный, или “вещный” и потому более наглядный. Акцентировка визуальности наблюдается уже в русской оде: М.В.Ломоносов, Г.Р.Державин не только “видят” все сферы от подводных глубин до небес, но при этом и “развоплощают” увиденное, трактуют скрытый за предметностью аллегорический смысл. В сентиментально-романтической культуре зрение постепенно теряет свои “монопольные права”, и в поэзии появляются символы значимости невидимого, непостижимого, такие как “туман”, “занавес” в элегиях поэтов-романтиков. Визуальный образ девальвируется как не дающий доступ к истинной сущности объектов наблюдения или даже опасный для смотрящего. Так, в гоголевском мире предметы неотчетливы, они дwoятся, меняют форму, а момент наиболее отчетливого видения может стать роковым (“Вий”, “Страшная месть”). Соответствия этому риторическому типу поэтического текста А.А.Фаустов замечает в живописи того времени, а именно в пристрастии эпохи к профильным изображениям и силуэтам, ставшим объектами литературной рефлексии в поэзии П.А.Вяземского и К.Н.Батюшкова. В условиях нечеткого видения повышается роль звука, посредством которого недоступное зрению заявляет о себе, открывает свою суть. Звук как “голос невидимой души” появляется уже в поэзии В.А.Жуковского (“Эолова арфа”), в дальнейшем Е.А.Баратынский и М.Ю.Лермонтов создают настоящую “звуковую мифологию” (там же, с.95). Лирический герой в поэзии Лермонтова смотрит как бы сквозь видимую оболочку и именно при помощи слуха проникает внутрь людей и вещей.

Следующий для соматического языка русской поэзии шаг — переход к тактильному модусу восприятия мира, для которого визуальность и звучание служат промежуточной стадией. В поэзии А.А.Фета основное “событие” — сжатие мира в точку при встрече “Я” и “Ты”, когда взгляд дополняется прикосновением, а голос — дыханием. Характерно, что в более поздний период, во второй половине XIX в., соматический язык поэзии демонстрирует признаки воспроизведения того же самого цикла — перехода от зрения к осязанию, но уже на другом социокультурном фоне и другом уровне поэтического языка.

Таким образом, можно говорить о преобладании той или иной чувственной модальности в разные историко-культурные периоды и о проявлении определенных соматических установок в вербальных и невербальных текстах культуры — художественных текстах, живописи, архитектуре и др. (26; 28).

В наше время, на протяжении XX в., значительное влияние на формы мировосприятия и языковую компетенцию оказало кино, существенно расширившее границы интертекстуальности. И.А.Мартыанова устанавливает, что это влияние может быть как собственно кинематографическим, обусловленным привычкой современного человека к восприятию видеоряда кино, так и связанным с воздействием киносценария на автора/читателя (18). Результатами этого воздействия на художественную прозу стали разрушение линейности повествования под влиянием киномонтажа, мобильность точки зрения в литературе, усиление тенденции к показу, а не рассказу, к синкретизму зрительного и звукового “изображений”. Развивается “быстрая проза” с динамичным чередованием сцен, акцентируются зримые детали. В настоящее время границы между киносценарием и литературными жанрами стали проницаемыми: через опыт общения с кино и киносценарием как “промежуточным” текстом между кинематографом и литературой прошли многие современные писатели и читатели. Возможно, взаимосвязь кинематографического и вербального способов отображения действительности проявляется не только на уровне текста, но затрагивает также лексико-фразеологическую систему языка. В работе (22) было показано, что принципы вербализации концептов в устойчивых словосочетаниях по определенным признакам сходны со способами варьирования изображаемых объектов в кинематографе, такими как ракурсовая, чередование

планов или предпочтение крупного плана для каких-либо фрагментов изображаемого, собрание фрейма концепта по принципу монтажа (ср.15).

Установление зависимости между характером порождения и восприятия текстов и культурной ситуацией может стать отдельным направлением в гуманитарных исследованиях. О.Г.Клигерман считает необходимым ввести в разнообразие форм интерпретации текста историко-когнитивный подход, способный выявить как корреляции между способами организации текста и его функциями в обществе, так и сами причины непрерывных изменений в принципах организации текстов (13). О.Г.Клигерман выделяет категории социо-культурной информации, закодированной в пространстве текста, такие как индивидуальный опыт автора / рассказчика; моральные и эстетические нормы эпохи; зависимость характера взаимоотношений коммуникантов от их социальных ролей. При этом имеется в виду прежде всего динамика взаимоотношений участников литературной коммуникации: автора – рассказчика, автора – персонажей, автора – читателя. При таком подходе текст предстает в виде пространства речевой деятельности, включающего в себя пересекающиеся ментальные пространства коммуникантов.

С категориями культуры оказывается связанной такая характеристика языка и текста, как суггестия, понимаемая как вид вербального воздействия на адресата, основанного не на информированности и логической аргументации, а на внушении (12; 19). При этом внушение не является специфически иллюкативным актом, поскольку в нем не эксплицирован соответствующий перформативный глагол. Внушение — это подсознательное и косвенное воздействие, для которого наличие перформативного глагола было бы равносильно коммуникативному самоубийству. Понятие суггестивно-магической функции языка было введено Л.Н.Мурзиным (19), обосновавшим его правомочность тем, что воздействие на психологические установки реципиента тем сильнее, чем органичнее синтез разных семиотических кодов, как это происходит в ритуалах и обрядах, в которых вербальный код выполняет роль одного из компонентов ритуального действия и, наоборот, ритуал содействует проявлению “магии” языка. Исследователи архаичных форм сознания и языка отмечают, что именно так, в единстве с ритуальным действием и сакральным предметом, язык существовал на ранней стадии своего развития (17; 30-31). Таким образом, суггестивно-магическая функция связана с условиями существования и назначением языка в его истоках. Исследуя источники суггестивности в самом языке, Л.Н.Мурзин видит один из важнейших в том, что каждый естественный язык создает свой собственный ментальный мир, диктующий говорящим на нем людям определенный способ мировосприятия, что было отмечено еще В. фон Гумбольдтом. Ментально-семиотический мир языка не представляет собой зеркального отражения внеязыковой действительности: образы, концепты, мифологии, создаваемые языком, членение им категорий пространства и времени могут значительно отличаться от логически выверенных, но именно на них человек опирается в повседневной жизни.

С точки зрения языковой суггестии особого внимания заслуживают фольклорные тексты, объединяющие в себе слово, ритм и действие, такие, как колыбельная песня. Характерно, что суггестивно-магическая функция колыбельных поддерживается образами антропоморфных мифологических существ.

С другой стороны, суггестия обнаруживается в пропагандистских текстах, где она возникает как результат повторения идеологических клише — многократно растиражированных слово-сочетаний и речевых оборотов, которые выражают идеологемы, т.е. одну из категорий коллективных представлений, конструирующих менталитет и культуру (12).

Присутствие реликтов мифа в современной культуре — в текстах, языке и поведенческих стереотипах — осознано исследователями как настолько всеобъемлющее, что анализ художественных текстов с этой точки зрения стал одним из направлений в изучении влияния архаических форм сознания на жизнь современного общества (1-2; 4; 9; 17; 23; 27; 31).

Культурная значимость архаического мифа заключается в его глобальной прототипичности. Миф был первичной моделью действительности, возникшей в момент перехода человека от биологического существования к социальному. Поэтому закономерно, что архаическая мифология содержит в себе в свернутом виде протомодели многих образов, концептов и сюжетных мотивов.

О.М.Фрейдберг была выдвинута гипотеза о том, что в архаическом мифе закодирована “генетическая программа” искусства (30-31). Согласно этой гипотезе мифология задала кардинальные структуры, которые, трансформируясь и взаимодействуя, определяют поэтики всех последующих историко-культурных периодов. Таким образом, “новые” поэтические структуры есть результат не возникновения новых элементов, но интерференций между

элементами образов и мотивов, унаследованных от архаической мифологии. Например, в архаических мифах берут начало бинарные оппозиции как универсальный способ членения мира: они происходят от мотива творения упорядоченного Космоса из Хаоса, трактуемого в мифологии как отделение от первоначальной неупорядоченной субстанции ее части. С.З.Агранович и И.В.Саморукова, опираясь на гипотезу О.М.Фрейденаберг, определяют миф как комплекс представлений, принимаемых обществом в какой-либо исторический период за реальность. Будучи универсальным способом моделирования и познания мира, миф задает не только корневые архетипические оппозиции “жизнь — смерть”, “свое — чужое”, “мужское — женское”, “свет — тьма”, но также содержит в себе протомодель таких важных для современного общества концептов, как “личность”, “субъект”, “личностное сознание” (1). Основы этой протомодели усматриваются в оппозиции “свое — чужое”, содержание элементов которой трансформируется при изменении отношения к “своему” коллективу и его установлениям — к общей судьбе, богам или единому Богу, к идее замкнутости в циклическом времени, свойственной архаичному обществу. Анализ библейских “Книги Иова” и “Екклесиаста” показывает, что в переходе от “своего”, мыслимого как “свой коллектив”, к понятиям субъекта и личности существенную роль играют введение в миропонимание категории выбора и стремление к выходу в линейное время (там же).

Мифологические корни обнаруживаются у текстов массовой культуры не в меньшей, если не большей степени, чем у текстов “высокой” литературы. Е.В.Улыбина анализирует феномен “правильных” и “неправильных” текстов, которые представляются следствием распада единого архаического мифа (27). Архаический миф нес этиологический смысл и был амбивалентен, так как он не строился исходя из моральных критериев: категорий “плохой — хороший” и позиции субъекта. При переходе в более поздние поэтики амбивалентный миф распался на два противоположных по смыслу сообщения. В “правильных” текстах, прошедших после выделения из мифа через стадию волшебной сказки, “хорошие” герои достигают в конце концов успеха и счастья, тем самым подтверждается гармоничное, “правильное” устройство мира. “Правильные” тексты занимают доминирующее положение в массовой культуре, где они играют роль стабилизатора, закрепляющего выработанные обществом ценности. К этому разряду текстов относятся американские боевики, большинство советских фильмов о войне, детективы, дамские романы о любви. “Неправильные” тексты, наоборот, играют роль противовеса официальной идеологии и общепринятым ценностям. Мир в них выглядит несправедливо устроенным, а “правила” — ложными. Это — рассказы о несовпадении морали и успеха, добродетели и силы, о гибели индивида. Такие тексты выполняют роль своеобразного “катализатора плача” (там же, с.71). К этому второму разряду относятся тексты так называемой “маргинальной” литературы — жестокие романы, блатные песни, городской фольклор. К “неправильным” текстам тяготеют многие произведения и образы “высокого” искусства.

Язык авторских поэтических текстов также несет на себе знаки мотивов и образов, восходящих к архаической мифологии.

Н.Арлаускайте исследует использование субстантивированных причастий и прилагательных в поэзии В.Хлебникова (2). Для творчества В.Хлебникова, ориентированного на миф и мифотворчество, характерно стремление к изоморфности описываемого мифа и языка описания. В этом контексте субстантивированные лексемы, тяготеющие к имени собственному (“Ра — видящий... созерцающий... Ра продолженный... Ра окруженный...”), могут рассматриваться как форма “проигрывания” той фазы творения, когда мир еще не расчленен и потому описывается через нерасчлененное имя-признак. Эта точка зрения находит поддержку в том, что модель образования имен от прилагательных и причастий распространена в мифологиях разных народов. Так, имя Джавантри в индуистской мифологии означает “движущийся по дуге лука”, Грох в армянской мифологии — “записывающий”, Каллиопа в древнегреческой — “прекрасно-голосая”.

М.А.Дмитровская, анализируя картину мира А.Платонова, обнаруживает рефлексы архетипических представлений в трактовке понятий “сила” и “натяжение” (9). В мифологии эти понятия, характеризующие устройство мироздания и человеческого тела как его элемента, ассоциируются с вещественно представимыми средствами связи — веревками. Эта ассоциация представлена в мифологиях разных регионов и отображена в языках. Так, медиативную функцию выполняют шнуры в индийской космологии, считающей, что верхний, средний и нижний миры соединяются и держатся космическими шнурами. По поверьям тунгусов и нганасан душа человека является невидимой нитью, тянущейся от него к хозяину верхнего мира. Результатом истончения нити становится болезнь, результатом ее разрыва — смерть.

Связь понятий прослеживается в семантических корреляциях и этимологиях лексем, например: англ. strong “сильный” и string “веревка”, родственных лат. stringere “туго натягивать”; ср. также ирл. strengaim “натягиваю”, др.-исл. strengr “натягивать тетиву лука, канат”. Эти понятия, в свою очередь, ассоциируются с представлениями о мускульном напряжении, что также фиксируется языками на уровне этимологии лексических значений. Например, в греч. νευρον — это и “крепость”, “тетива”, “нить”, но и “мускул”, “нерв”. Слав. silo сопоставимо с герм. saila нем. Seil “шнур”. А.А.Потебня отмечал семантическую связь понятий “веревка” и “жила” в серб. жилити в значении “вязать”; ср. также семантическую ассоциацию “напрягать жилы” — “быть сильным” в русском “двужилый”.

В прозе А.Платонова отражены представления об этих смысловых корреляциях, устанавливающих единство макрокосмоса и микрокосмоса. Так, в “Чевенгуре” сухожилия прямо сравниваются с веревками. “Копенкину нравились сухожилия — он думал, что они силовые веревки, и боялся порвать их” (там же, с.24).

Исследование языковых единиц свидетельствует о том, что элементы мифологического мышления и мифопоэтической картины мира закодированы в них на уровне семантики и часто носят характер универсалий, позволяющих выявить сходство и различие между концептуальными системами разных языков. Многие исследователи согласны в том, что пластами языковой системы, в наивысшей степени концентрирующими в себе культуру и архаический миф как ее первооснову, являются абстрактные номинативные единицы, обозначающие “мир человека” (его личностные характеристики, эмоции, интеллект, взаимоотношения людей), и фразеология, включая устойчивую сочетаемость этих номинативных единиц (4; 7; 17; 22)⁷.

В работе М.К.Головановской исследование особенностей менталитета носителей современного французского языка в сопоставлении с русским проводится через анализ устойчивой сочетаемости субстантивов, называющих базовые эмоции, органы “наивной анатомии”, высшие силы и абсолюты и категории мышления (7). Сходный метод — опора на устойчивую сочетаемость — используется Н.Г.Брагиной при изучении наименований эмоций в немецком и русском языках (4). Этот метод оказывается продуктивным в силу того, что признаковые слова и существительные, постоянно воспроизводимые с опорными лексемами словосочетаний, как правило, содержат в себе метафорический образ, который дает доступ к основам миропонимания и концептуализации “невидимого мира” на основе данного миропонимания. Именно общеязыковая метафора, существующая и воспроизводимая независимо от воли отдельного говорящего и его креативного речевого поведения (“гнев душит”, “воображение разыгралось”, “светлая личность”), дает возможность выявить ментальность носителей языка. В свою очередь, картина мира, воплощенная в общеязыковых метафорах, принадлежащих к системе языка, в значительной степени восходит к мифологическому миропониманию с характерным для него неразграничением предметного и не предметного, вещи и образа. Поэтому образы, заключенные в языковых метафорах, подтверждают мысль Э.Кассирера о том, что метафоричность слов — это наследие, полученное языком от мифа (11).

В других терминах, систему современных языковых метафор можно назвать наследием “мифологического тропа”, выражающего мифопоэтическую модель мира. М.М.Маковский, используя этот термин, объясняет различие между художественным и мифологическим тропом следующим образом: художественный троп не используется для прямого познания объектов этого мира, он применяется в условиях познания нашего отношения к миру. В мифе же, который представляет собой форму познания мира, троп есть единственный способ познания мира — как внешнего, так и внутреннего (17; ср.30 о неразграничении прямого и переносного смыслов в метафоре как принадлежности архаического мифа и архаического сознания). Для современного же мировосприятия, в котором прямой, “рациональный” смысл и смысл образный, тропический разграничены, языковая метафора не является воспринимаемым впрямую знаком отношения к миру. Однако наличие в каком-либо языке множества устойчивых и воспроизводимых образных словосочетаний, представляющих концепт определенным образом, или, наоборот, отсутствие фразеогизмов, воплощающих в себе вербальную “обработку” данного концепта, наряду с выявляемыми через контрастивный анализ сходствами

⁷ Тема “фразеология и культура”, безусловно, представляет собой особую область исследований в проблематике взаимоотношений языка и культуры. Подробнее эта тема освещена в обзорах (20-21). См. также (29). — Прим. авт.

и различиями по языкам, позволяют делать заключения об особенностях менталитета, отображенных в языковых “предпочтениях” тех или иных образов.

Так, в работе М.К.Головановской показано, что для обиходного сознания носителей современного русского и французского языков различаются понятия “добра” (7). Сочетаемость показывает, что в русском языке “добро” ассоциируется прежде всего с идеями нравственного абсолюта и бескорыстного действия: “силы/царство добра”, “творить добро”, “торжество добра”, “познать добро”. Прагматический аспект понятия закреплен в русском языке за существительным “благо”. Для носителей французского языка понятие *le bien* “добро” ассоциировано в первую очередь с идеей практической ценности действия, в то время как этический смысл редуцирован. Такое направление концептуализации акцентируется сочетаемостью и значениями устойчивых словосочетаний: *homme de bien* “почтенный, порядочный человек”, *le bien public* “общественная польза”; смысл “делать добро” передается сочетанием с глаголом *pratiquer*, который используется для передачи значения “заниматься какой-либо профессиональной деятельностью”, “осуществлять ч.-л.”: *pratiquer le médecine* “заниматься медицинской практикой”, *pratiquer le monde* “бывать в свете”, *pratiquer le chemin* “проложить дорогу”. И это далеко не единственный случай различия менталитетов, отображенного в устойчивой сочетаемости существительных, обозначающих непредметный мир. Так, в сочетаемости слова “судьба” в русском языке значительно шире представлена персонификация, восходящая к образам славянской мифологии (Суденицы, Среча и Несреча), а также представление о ‘судьбе’ как о ‘тексте’: “читать/разгадывать судьбу”, “что на роду написано”. Во французской сочетаемости центральным является ассоциирование концептов ‘судьбы’ *sort* и ‘жеребьевки’, ‘игры’. Поэтому сочетания с наиболее частотными предикатами *jeter le sort* и *tirer au sort* “бросать жребий” и “решать судьбу” метафорически воспроизводят прототипическую ситуацию жеребьевки (там же).

С другой стороны, сходство образов, используемых в устойчивых словосочетаниях разных языков, часто свидетельствует о сходных или аналогичных способах концептуализации непредметного мира. Это сходство наиболее наглядно там, где образность имеет под собой мифологическую основу. Н.Г.Брагина, исследуя устойчивую сочетаемость наименований эмоций в русском и немецком языках, обращает внимание на то, что образность переосмысленных компонентов фразеологизмов интерпретируется через мифологические мотивы и сюжеты (4). Например, сильные эмоции описываются во фразеологизмах как нечто, вселяющееся в человека (в душу и сердце, которые, по народным представлениям, являются центром микрокосма человека) и при этом ведущее себя агрессивно и деструктивно. Ср. “тоска/тревога проникла в душу/поселилась в сердце” и нем. *Ein Gefühl dringt ein* “чувство проникает внутрь”, “гнев/ярость охватывают” и нем. *Wut packt mich* “ярость охватывает меня”, “тоска/уныние гнетет” и нем. *Mutlosigkeit bedrückt* “уныние гнетет/тяготит”. Множество подобных примеров, касающихся, в первую очередь, воздействия на человека сильных отрицательных эмоций, позволяет усмотреть в этих образах параллель с поведением демонов в мифологии. Характерно, что в словосочетаниях не оговаривается место, откуда чувства приходят, чтобы “напасть” на человека. Можно предположить, что это — пришельцы из Хаоса, т.е. “чужого мира” как важнейшего элемента архетипической модели мира, представляющие собой враждебное “своему”, внутреннему Космосу хтоническое начало (там же).

Таким образом, мифологические мотивы и образы обнаруживаются не только в авторских текстах, но и на уровне единиц, принадлежащих к языковой системе и воспроизводимых носителями языка в повседневной речи. Общность этих мотивов в разных языках свидетельствует, в свою очередь, о том, что архаические мифы представляют собой общий и наиболее глубоко проникший в язык фонд образности, получивший развитие в художественных текстах последующих культурно-исторических периодов.

Список литературы

1. Агранович С.З., Саморукова И.В. Типы художественного сознания и мировоззренческий потенциал мифа // Проблема художественного языка. — Самара, 1996. — Вып. 2. — С. 25-56.
2. Арлаускайте Н. Мифологические субстантивации: Велми́р Хлебников // Текст как объект многоаспектного исследования: Науч.-методол. семинар “TEXTUS.”— СПб; Ставрополь, 1998. — Вып. 3, ч.2. — С.93-96.
3. Барт Р. От произведения к тексту // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. — М., 1989. — С.413-423.
4. Брагина Н.Г. Устойчивые словосочетания: Метафора и миф // *Anzeiger für Slavische Philologie*. — Graz, 1998. — Bd 25. — С.41-63.

5. Васильева В.В. Текст в культуре и культура в тексте // Фатическое поле языка: Памяти проф. Л.Н.Мурзина. — Пермь, 1998. — С.19-24.
6. Гиршман М.М. Язык поэзии — форма поэтического произведения — поэтический смысл // Проблема художественного языка. — Самара, 1996. — Вып.2. — С.82-91.
7. Головановская М.К. Французский менталитет с точки зрения носителя русского языка. — М., 1997. — 279 с.
8. Григорьев В.П. Поэтика слова. — М., 1979. — 344 с.
9. Дмитриевская М.А. Архетипичность представлений о связи силы и натяжения и их рефлексии в произведениях А.Платонова // Актуальные проблемы лингвистической семантики и типологии литературы. — Калининград, 1997. — С.22-26.
10. Дымарский М.Я. Текст — дискурс — художественный текст // Текст как объект многоаспектного исследования: Науч.-методол. семинар “TEXTUS”. — СПб.; Ставрополь, 1998. — Вып.3, ч.1. — С.18-26.
11. Кассирер Э. Сила метафоры // Теория метафоры. — М., 1990. — С.33-44.
12. Киклевич А.К., Потехина Е.А. О суггестивной функции текста // Фатическое поле языка: Памяти проф. Л.Н.Мурзина. — Пермь, 1998. — С.114-127.
13. Клигерман О.Г. Текст художественного прозаического произведения как предмет историко-когнитивного освещения: К постановке проблемы // Вопросы лингвистики. — М., 1998. — Вып.2. — С.127-135.
14. Кузьмина Н.А. Интертекст и интертекстуальность: К определению понятий // Текст как объект многоаспектного исследования: Науч.-методол. семинар “TEXTUS”. — СПб.; Ставрополь, 1998. — Вып.3, ч.1. — С.27-35.
15. Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. — Таллинн, 1973. — 140с.
16. Лотман Ю.М. Три функции текста // Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров: Человек — текст — семиосфера — история. — М., 1996. — С.11-22.
17. Маковский М.М. Язык — миф — культура: Символы жизни и жизнь символов. — М., 1996. — 330 с.
18. Мартынова И.А. Влияние кинематографа на композиционно-синтаксическую организацию литературного текста // Текст как объект многоаспектного исследования: Науч.-методол. семинар “TEXTUS”. — СПб.; Ставрополь, 1998. — Вып.3, ч.2. — С.150-156.
19. Мурзин Л.Н. О суггестивно-магической функции языка // Фатическое поле языка: Памяти проф. Л.Н.Мурзина. — Пермь, 1998. — С. 108-114.
20. Ольшанский И.Г. Лексика, фразеология, текст: Лингвокультурологические компоненты: Науч.-аналит. обзор // Язык и культура: Сб. обзоров. — М., 1999. — С. 10-26.
21. Опарина Е.О. Лингвокультурология: Методол. основания и базовые понятия // Там же. — С. 27-48.
22. Опарина Е.О. Лексические коллокации и их внутрифреймовые модусы // Фразеология в контексте культуры. — М., 1999. — С. 139-144.
23. Погребная Я.В. О компонентах мифопоэтического и некоторых принципах их идентификации // Текст как объект многоаспектного исследования: Науч.-методол. семинар “TEXTUS”. — СПб.; Ставрополь, 1998. — Вып.3, ч.1. — С. 56-66.
24. Рымарь Н.Т. Художественный язык и язык культуры: Проблема материала // Проблема художественного языка. — Самара, 1996. — Вып.2 — С.11-25
25. Сергеева Е.В. Соотношение русского религиозно-философского и поэтического дискурса конца 19 — начала 20 века // Текст как объект многоаспектного исследования: Науч.-методол. семинар “TEXTUS”. — СПб.; Ставрополь, 1998. — Вып.3, ч.2. — С.136-140.
26. Таруашвили Л.И. Тектоника визуального образа в поэзии античности и христианской Европы: К вопросу о культурно-исторических предпосылках ордерного зодчества. — М., 1998. — 374 с.
27. Улыбина Е.В. Правильные и неправильные тексты // Текст как объект многоаспектного исследования: Науч.-методол. семинар “TEXTUS”. — СПб.; Ставрополь, 1998. — Вып.3, ч.1. — С. 66-73.
28. Фаустов А.А. О соматическом языке культуры: Конец XVIII — сер. XIX в. // Проблема художественного языка. — Самара, 1996. — Вып.2. — С. 92-98.
29. Фразеология в контексте культуры. — М., 1999. — 336 с.
30. Фрейденоберг О.М. Миф и литература древности. — М., 1978. — Гл. Метафора. — С. 180-205.
31. Фрейденоберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. — М., 1997. — 448 с.
32. Циммерлинг А. Бремя чужих слов // Конференция “Слово как действие”, 27-29 апр. 1998 г. — М., 1998. — С. 108-110.
33. Щерба Л.В. Опыт общей теории лексикографии // Изв. АН СССР. — М., 1940. — №3. — С. 104.

Е.О.Опарина

ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ДИАЛОГА В РАБОТАХ СОВРЕМЕННЫХ ФРАНЦУЗСКИХ ЛИНГВИСТОВ

Введение

С начала 80-х годов во французской лингвистике активно разрабатываются проблемы диалога. Он все больше привлекает внимание не только лингвистов, но и специалистов по теории коммуникации, социологов. Появились десятки исследований по теории диалога, работают специальные семинары, организованы целые научные школы, регулярно проводятся конференции. Это послужило поводом для некоторых лингвистов говорить уже о моде на исследование диалога. Но, к сожалению, все эти многочисленные работы мало известны русскому исследователю и из-за языкового барьера, и из-за существующих трудностей в получении информации. Даже в весьма обстоятельном обзоре основных направлений современной французской лингвистики эти работы только упомянуты (1).

В русской лингвистике сейчас также отмечается всплеск интереса к диалогической речи, идет бурное развитие теории диалога в рамках собственно русских лингвистических традиций. Естественно, что в разработке многих проблем интересы русских и французских лингвистов пересекаются. Поэтому настоящий обзор ставит своей целью дать русским исследователям диалога представление об этой интересной области французской лингвистики и способствовать тем самым началу более активного обмена научной информацией в этой сфере.

Мы предполагаем отметить наиболее узловые вопросы изучения диалога и познакомить русского читателя с основными работами французских лингвистов. Примечателен еще и тот факт, что существует тесная взаимосвязь французских исследований со швейцарскими. Совместные конференции, публикации французских работ в швейцарских журналах и наоборот создают как бы единое исследовательское пространство. Но тем не менее и во Франции, и в Швейцарии существуют свои доминирующие подходы и научные школы, которые определяют специфику исследовательского подхода в каждой стране. Поэтому в данном обзоре мы сосредоточим свое внимание только на французских работах, хотя некоторые из них опубликованы в швейцарских изданиях.

1. Вопросы терминологии

Прежде всего остановимся на вопросах терминологии, т.е. что понимается под диалогом и какими еще терминами обозначается этот объект исследования. В этом плане картина предстает достаточно пестрая, так как можно встретить самые разные термины: “разговор” (conversation), “диалог”, “интеракция”, не говоря уже о конкретных разновидностях диалога.

Думается, что термин “разговор” (conversation) пришел из американской лингвистики вместе с теорией речевых актов и конверсациональным анализом. Этот термин встречается преимущественно в работах лингвистов, практикующих данный подход (14; 15; 16; 17; 19; 35), и обозначает чаще всего именно вербальные компоненты общения. Причем термин “conversation” покрывает практически все виды вербального общения, от болтовни до пресс-конференций. В этом случае термины “интеракция” или “речевой акт” обозначают невербальные компоненты общения.

В работах французских лингвистов, занимающихся устными формами речи (2; 6; 20; 21), или практикующих интеракционный подход (28; 29; 30; 31; 32; 45) термин “conversation” употребляется в более узком смысле для обозначения определенного акта речевой коммуникации, который имеет спонтанный характер, происходит в неформальной обстановке и предполагает равное положение участников общения, т.е. он более соответствует термину “разговор” в русской лингвистической традиции.

Термин “диалог” не имеет однозначного употребления. Он может обозначать и любое речевое взаимодействие, независимо от количества участников общения (24, с. 235), и письменный текст – театральный, кинематографический, литературный диалог (в

противоположность устной форме аутентичного разговора “*conversations authentiques*”) – (2, с. 9). В работах лингвистов, следующих за М.Бахтиным (8; 20; 21; 22, 34), этот термин употребляется в широком значении для любого речевого взаимодействия между двумя или несколькими участниками акта общения.

В последнее время в работах французских лингвистов все чаще стал употребляться термин “интеракция” или “вербальная интеракция” (5; 23; 28; 29; 30; 31; 32; 46). Это связано с развитием интеракционного подхода к анализу диалога и со становлением “лионской школы”, о которой речь пойдет ниже.

Понятие вербальной интеракции включает все виды речевого взаимодействия человека – от финансовых переговоров до праздной болтовни, так как “в течение любого коммуникативного обмена различные партнеры, или “интерактанты”, оказывают друг на друга систему *взаимных влияний* – говорить – значит обмениваться и изменять, обмениваясь” (17; 29). В эту систему взаимовлияний, или взаимовоздействия, входят не только вербальные компоненты, но и паравербальные. Таким образом, термин “вербальные интеракции” употребляется очень широко и в силу этого позволяет рассматривать самые разные аспекты речевого взаимодействия. Видимо, поэтому он и находит все большее применение в работах по диалогу.

2. Виды диалога

В отличие от русской лингвистики, вопрос жанров диалогической речи не является столь актуальным для французской лингвистики и практически не обсуждается; тем не менее лингвисты выделяют различные виды диалога и описывают их специфику. Это *conversation*, *discussion*, *débat*, *entretien*, *interview*, *transaction*, *consultation* и т.д. Поэтому широту охвата различных видов диалога можно считать одной из особенностей этой области французской лингвистики. Однако больше всего описан собственно бытовой диалог, или обыденная речь (*conversation ordinaire*, или *conversation quotidienne*), достаточно подробно проанализированная в работах Д. Андре-Ларошбуви (2), Д. Франсуа-Жежер (20), Ж. Леон (35).

Большое внимание французские лингвисты уделяют всестороннему анализу телефонных разговоров. Этому посвящены исследования М. де Форнеля, (14; 17), Ж.Леон (35), а также целый ряд статей в журнале “*Cahiers de linguistique française*”.

Не остается в стороне от внимания лингвистов и так называемый “институализированный” диалог, т.е. диалог, проходящий в рамках различных социальных институтов: учреждений, организаций и т.п. Здесь можно назвать работы Ф.Франсуа (21), А.Салазар-Орвиг (40), посвященные диалогу врача и пациента, работу А.Борилло (7), посвященную рабочим разговорам, коллективную работу под редакцией П.Банжа (5).

Достаточно много исследований посвящено анализу различного рода дискуссий. Это могут быть и дискуссии, специально спровоцированные исследователем, и теле- и радиодebаты, и записи политических дискуссий (33). В этой области работают такие лингвисты, как Д.Дюэ (13), А.Троньон (41), Ж.Коснье (11), П.Шампань (9), К.Гарсиа (23).

Активное внимание лингвистов привлекают и различные интервью. Отметим только несколько интересных, на наш взгляд, публикаций: Андре-Ларошбуви (3; 4); П.Шародо (10); Р.Вион (46).

Таким образом, вопрос о жанрах диалогической речи решается их практическим описанием без глобальных теоретических обобщений.

3. Вопрос аутентичности диалога

Использование в качестве исследуемого корпуса самых разнообразных видов диалога не снимает с повестки дня другого, весьма актуального для французской лингвистики вопроса, – вопроса аутентичности материалов. Эта проблема до сегодняшнего дня является весьма острой для французских лингвистов и постоянно вызывает среди них полемику. Большая часть исследователей настаивают на том, что анализ диалога может вестись только на материале записанных на магнитофон или на видеокамеру естественных разговоров, которые позволяют анализировать устное речевое произведение в единстве всех его компонентов. Поэтому в поле зрения лингвистов оказываются прежде всего те диалоги, которые технически легче записать. Это телефонные разговоры или записи разговоров в общественных местах (на почте, на вокзале, в банке), или записи переговоров, теледебатов, радиоинтервью. Театральный диалог,

кинематографический и тем более диалог в художественном произведении практически полностью исключаются из анализа.

Эта ситуация, на наш взгляд, вызвана тем, что, во-первых, долгое время во французской лингвистике исследования базировались только на письменной речи, и эти данные экстраполировались на устную речь: “Будучи нацеленным на устную речь, лингвист всегда работал над письменной речью” (44, с. 208). Поэтому бурное развитие исследований устной речи привело к резкому крену в другую сторону и к максимализму в требованиях “естественности” анализируемого диалогического материала. Во-вторых, это связано и со спецификой французского театра, в котором до относительно недавнего времени господствовали жесткие канонические требования, в том числе и к драматическому диалогу, а актер не имел права изменить ни одного слова в тексте, чтобы приблизить его к живой разговорной речи. В силу названных причин имеющиеся отдельные работы, посвященные театральному диалогу (26; 39; 43) весьма малочисленны по сравнению с количеством исследований, основанных на наблюдениях за спонтанной устной речью.

В силу этих причин вопрос о выборе в качестве объекта исследования устной или письменной речи остается достаточно острым для французской лингвистики. В то же время само понятие аутентичности весьма относительно и у разных исследователей используется по-разному. Так, под него подводят и бытовой диалог, и телевизионное интервью, и организованные дискуссии, и диалог, записанный в лабораторных условиях, и диалог, спровоцированный самим исследователем. Именно поэтому в последнее время создательница “Лионской школы” изучения диалога К.Кербра-Орекьони предлагает ввести понятие *шкалы аутентичности*, на которой можно расположить различные типы вербальных интеракций, от бытового диалога до литературного (29, с. 127). Это значительно раздвигает границы исследований и позволяет лингвистам использовать в качестве корпуса самые разнообразные виды диалогов, в том числе и литературные.

4. Методологические подходы

С точки зрения методологических подходов к анализу диалога французская лингвистика представляет собой мозаичное табло, на котором соседствуют самые разнообразные научные школы. Прежде всего это исследования по устной речи, которые в основе своего материала имеют диалогическую речь. Эти работы, акцентируя внимание на вербальном компоненте речевых интеракций, рассматривают и вопросы семантики, и вопросы организации диалога в целом (20; научная группа в Экс-ан-Прованс “Parole et langage” и т.д.).

Активно практикуется французскими лингвистами и этнометодологический подход Сакса и Щеглова. Его последователи (М. де Форнель, Ж.Леон, Ж.-М.Мараден) разрабатывают такой аспект, как структурная организация диалога, особенно вопросно-ответных единств (35; 36). Соединение конверсационального анализа и теории речевых актов позволяет исследователям изучать вопросы соотношения речевого высказывания и речевого акта (17; 37; 38), выявлять компонентную структуру речевого акта и на основе этого анализа определять отличия одного типа минимального диалогического единства от другого, например, “комплимента” от “поздравления” или “обвинение” от “критики” (17; 37; 38). Сторонники этого научного подхода занимаются также и проблемой организации тематического компонента диалога, уделяя особенно большое внимание вопросу развития “темы” (14; 16) в диалогах различного типа.

Развивая принципы конверсационального анализа, М. де Форнель разработал основы социопрагматического подхода к анализу диалога. Этот подход предполагает анализ речевых интеракций с точки зрения социально-прагматического контекста: т.е. выявление узловых моментов ситуации, порождающих высказывание, а также влияние высказывания на изменение социального контекста (15; 18).

Среди французских лингвистов можно встретить и последователей социологического подхода Гофмана, и сторонников социолингвистического анализа Гамперца, и исследователей, работающих в русле Женевской школы. Однако невозможно выделить ни один из этих подходов в качестве доминирующего.

На фоне этого многообразия методологических подходов идет процесс создания собственных лингвистических школ, изучающих вербальные интеракции. В первую очередь здесь надо назвать “Лионскую школу” – исследовательскую группу под руководством К.Кербра-Орекьони. Эта группа объединяет социологов, психологов и лингвистов. Сама

создательница этого направления, Катрин Кербра-Орекьони, выпустила шесть монографий, посвященных теоретическим и практическим аспектам исследования вербальных интеракций (25; 27; 29; 30; 31; 32). Кроме того, практически каждый год выходит сборник статей, публикуемый данным научным центром.

Теоретической базой этого направления является интеракционный подход, в основе которого находится постулат о мультиканальности и многокодности коммуникации. Это значит, что при анализе диалогической речи в сфере внимания оказываются не только лингвистические параметры, но и поведенческие, т.е. то, что Ж.Коснье называет “тотекстом”, – совокупность экстра-лингвистических параметров, организующих коммуникацию (11). Поэтому можно сказать, что данные исследования лежат на пересечении двух областей: дискурсивного анализа и этно-психосоциологии коммуникации.

В последние годы была создана еще одна научная группа, занимающаяся изучением вербальных интеракций. Она работает в Экс-ан-Прованс под руководством Робера Вийона. Имея много общего с “Лионской школой”, эта исследовательская группа сосредоточила свое внимание на вербальности, т.е. собственно лингвистическом аспекте интеракций. В поисках своей модели анализа диалогической речи представители данной научной группы опираются, с одной стороны, на уже имеющуюся модель анализа интеракций “Лионской школы”, с другой стороны, на теорию высказывания А.Кюльоли и глубокий лингвистический анализ, представленный в работах О.Дюкро. Поэтому основная проблема, над которой работают эти исследователи, – динамика развития дискурса, которую они связывают с местом говорящего в речевом высказывании (45; 46).

Хочется отметить, что такая неоднородность методологических подходов к одному объекту исследования имеет свои положительные стороны: она способствует активному развитию этой области лингвистики и создает благоприятную почву для дискуссий на конференциях и семинарах.

Заключение

Таким образом, обзор основных исследований современной французской лингвистики, посвященных диалогу, позволяет сделать вывод о том, что эта область, хотя и имеет весьма недолгую историю, активно развивается, привлекая все новых и новых исследователей. Она по праву может считаться одним из перспективных направлений во французской лингвистике.

Список литературы

1. Плуноян В.А., Рахилина Е.В. О некоторых направлениях современной французской лингвистики // *Вопр. языкознания*. – М., 1994. – № 5. – С. 107-123.
2. Andre-Laroche bouvy D. *La conversation quotidienne : Introduction à l'analyse sémio-linguistique de la conversation*. – P., 1984. – 196 p.
3. Andre-Laroche bouvy D. *L'interview radiophonique : le modèle de José Artur* // *Aspects du discours radiophonique*. – P., 1984. – P. 37-72.
4. Andre-Laroche bouvy D. *Les interactions orales (conversations et interview) et leur spécificité par rapport aux dialogues écrits*. // *Cahiers d'acquisition et de pathologie du langage*. – P., 1988. – Fasc.3. – P.31-39.
5. *L'analyse des interactions verbales : La dame de Caluire : une consultation*. – Berne, 1987. – 402 p.
6. Blanchet A. et al. – *Dire et faire dire: L'entretien*. – P., 1998. – 171 p.
7. Borillo A. *A propos des dialogues finalisés* // *Actes du colloque “Le dialogue en question”* – P., 1993. – P. 231-241.
8. Bouquet S. *Linguistique textuelle, jeux de langage et sémantique du genre* // *Langage*. – P., 1998. – N 129. – P. 112-125.
9. Champagne P. *Qui a gagné? Analyse interne et analyse externe des débats politiques à la télévision* // *Mots*. – P., 1989. – N 20. – P. 5-22.
10. Charaudeau P. *Aspects du discours radiophonique*. – P., 1984. – 162 p.
11. Cosnier J.; Kerbrat – Orecchioni C. *Décrire la conversation*. – Lyon, 1987. – 392 p.
12. Ducrot O. *La valeur argumentative de la phrase interrogative*. // *Logique, argumentation, conversation: Actes du colloque de pragmatique*, Fribourg 1981, Berne. – Francfort sur Main, 1983. – P. 79-112.
13. Duez D. *La pause dans la parole de l'homme politique*. – P., 1991. – 191 p.
14. Fornel M. de. *Remarques sur l'organisation thématique et les séquences d'actions dans la conversation* // *Lexique*. – P., 1987. – N 5. – P. 15-36.
15. Fornel M. de. – *Sociopragmatique de la conversation : Production, réception et séquentialisation des récits de plante* // *La relation de service dans le secteur public*. – P., 1989. – T. 1. – P. 165-189.

16. Fornel M. de. Constructions disloquées, mouvement thématique et organisation préférentielle dans la conversation // Langue Française. – P., 1988. – N 47. – P.101-123.
17. Fornel M. de. Sémantique du prototype et analyse de conversation // Cahiers de linguistique Française. – P., 1990. – N 11. – P.1-23.
18. Fornel M. de. Faire parler les objets : Perception, manipulation et qualification des objets dans l'enquête policière // Raisons Pratiques. – P., 1993. – N 4. – P. 241-265.
19. Fornel M. de. ; Léon J. Des questions-échos aux réponses-échos. Une approche séquentielle et prosodique des répétitions dans la conversation // Cahiers de praxématique. – Montpellier, 1997. – N 11. – P. 3-29.
20. François-Geiger D. – A la recherche du sens. – P., 1990. – 395 p.
21. François F. De quelques aspects du dialogue psychiatre-patient: Places, genres, mondes et compagnie // Calap. – P., 1989. – N 5. – P. 39-89.
22. François F. Communication, interaction, dialogue : Remarques et questions // Le français aujourd'hui. – P., 1996. – N 113. – P. 11-24.
23. Garcia C. Interaction et analyse du discours: étude comparative de débats entre adolescents // Etudes de linguistique appliquée. – P., 1982. – N 46. – P. 98-118.
24. Hagège C. L'homme de paroles. – P., 1985. – 296 p.
25. Kerbrat-Orecchioni C. L'énonciation. – P., 1980. – 290 p.
26. Kerbrat-Orecchioni C. Pour une approche pragmatique du dialogue théâtral // Pratiques. – P., 1984. – N 41. – P. 46-62.
27. Kerbrat-Orecchioni C. L'implicite. – P., 1986. – 404 p.
28. Kerbrat-Orecchioni C. Le principe d'interprétation dialogique // Cahiers de praxématique. – Montpellier, 1989. – N 13. – P. 43-58.
29. Kerbrat-Orecchioni C. Les interactions verbales. – P., 1990. – T. 1. – 318 p.
30. Kerbrat-Orecchioni C. Les interactions verbales. – P., 1990. – T.2 – 368 p.
31. Kerbrat-Orecchioni C. Les interactions verbales. – P., 1990. – T. 3. – 316 p.
32. Kerbrat-Orecchioni C. La notion d'interaction en linguistique: origine, apports, bilan // Langue française. – P., 1998. – N 117. – P. 51-68.
33. La Télévision: (Les débats culturels). – P., 1992. – 389 p.
34. L'argumentation en dialogues // Langue française. – P., 1996. – N 112. – 92 p.
35. Léon J. Stabilité/instabilité du couple question-réponse dans l'analyse séquentielle conversations ordinaires et entretiens publics. – P., 1996. – 435 p.
36. Léon J. Approche séquentielle d'un objet sémantico-pragmatique : le couple Q-R, questions alternatives et questions rhétoriques // Revue de sémantique et pragmatique. – P., 1997. – N 1. – P. 23-50.
37. Marandin J.-M. Des mots et des actions : compliment, complimenter et l'action de complimenter // Lexique. – P., 1987. – N 5. – P. 65-99.
38. Marandin J.-M. "C'est pour ça que je viens vous voir" : description de l'interaction dans la conversation // L'analyse des interactions verbales : La dame de Caluire : une consultation. – Berne, 1987. – P. 362-378.
39. Petitjean A. – La conversation au théâtre // Pratiques. – P., 1984. – N 41. –P. 63-88.
40. Salazar-Orvig A. Remarques sur la construction de l'espace discursif: L'exemple d'un entretien clinique // Modèles linguistiques. – P., 1987. – T. 9. – P. 53-64.
41. Trognon A., Laurre J. Pragmatique du discours politique. – P., 1994. – 183 p.
42. Vanoye F. Conversations publiques // Iris. – P., 1985. – N 3. – P. 98-118.
43. Vanoye F. Pratique de l'oral : écoute, communication sociale, jeu théâtral. – P., 1981. – 127 p.
44. Véron E. La sémiosis sociale. – Saint-Denis, 1988. – 230 p.
45. Véronique D., Vion R. Modèles de l'interaction verbale. – Aix-en-Provence, 1995. – 512 p.
46. Vion R. La communication verbale. – P., 1992. – 302 p.

И.С.Иванова

МОДЕЛИ СЮЖЕТНЫХ СТРУКТУР И НАРРАТИВНОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Метод описания фольклорных сюжетов с помощью функций, разработанных В.Я.Проппом, получил широкое распространение. В 1928 г. в основополагающей работе “Морфология сказки” В.Я.Пропп установил, что все многочисленные волшебные сказки со всем их сюжетным разнообразием могут быть сведены к единой нарративной схеме, состоящей всего из 31 конструктивного элемента,- так называемых функций (основных сюжетных событий или действий персонажей вроде отправки героя из дома или борьбы с вредителем). Как отмечал В.Я.Пропп (20), варианты сказки о гонимой падчерице, которую мачеха отправляет в лес к Морозке (медведю, лешему) и которая (в отличие от родной дочери) успешно выдерживает все испытания, есть одна и та же сказка, несмотря на то, что Морозко, леший и медведь по-разному испытывают падчерицу и по-разному ее награждают.

Оценивая проделанные за 70 лет после выхода “Морфологии сказки” исследования в области формального представления сюжетных (повествовательных) структур, надо отметить, прежде всего, необычайную плодотворность пропповских идей, создавших условия для развития целых направлений не только в фольклористике, но и в новейших отраслях лингвистики, таких как грамматика текста, нарратология, искусственный интеллект и т.п.

Характерно, что большинство продолжателей методики Проппа так или иначе приходили к тому, что, видоизменяя аппарат основоположника, существенно сокращали состав функций, представляющих развитие сюжета.

Например, А.Дандис (32), анализируя индейские сказки, ограничивается десятью функциями, или пятью парами. Он почти во всем следует за Проппом, используя известные пары: НЕДОСТАЧА – ЛИКВИДАЦИЯ НЕДОСТАЧИ, ЗАПРЕТ – НАРУШЕНИЕ, ОБМАН – ПОСОБНИЧЕСТВО, ЗАДАЧА – РЕШЕНИЕ, а также СЛЕДСТВИЕ НАРУШЕНИЯ и УСКОЛЬЗАНИЕ ОТ БЕДЫ. Сокращение состава функций объясняется, по-видимому, более архаичным материалом (15).

К.Бреммон предпринял дальнейшую редукцию, ограничившись всего тремя парами, или шестью функциями. При этом он сам установил соответствия своих функций с функциями Проппа (Табл.1; 9, с. 52):

Таблица 1

Бреммон	Пропп
Ухудшение	(8) А Вредительство
Улучшение	(19) Л Ликвидация недостачи
Недостойный поступок	(8)А Вредительство
Наказание	(24) Ф Притязания ложного героя
Заслуга	(30)Н Наказание
	(18)П Победа
	(13) Г Реакция героя
	(18)П Победа
	(19) Л Ликвидация недостачи
	(26) Р Решение задачи

Награждение

(14) Z Получение дара

(22) Sp Спасение

(29) T Трансфигурация

(31) C* Свадьба, воцарение

На основе данного подхода Бремон выделил три схемы построения сказочного сюжета:

1. УХУДШЕНИЕ → УЛУЧШЕНИЕ (состояния А)
2. УХУДШЕНИЕ → УЛУЧШЕНИЕ (состояния А)
из-за НЕДОСТОЙНОГО поведения В → НАКАЗАНИЕ В
3. УХУДШЕНИЕ → УЛУЧШЕНИЕ (состояния А)
благодаря ЗАСЛУГЕ С → НАГРАДА С

Применяя данную модель, Бремон получает классификацию 120 французских сказок. Вероятно, такая классификация заслуживает внимания, но, как отмечает Е.М.Мелетинский (15, с. 454), “анализ Бремона слишком абстрактен (и потому обеднен) в силу отказа от жанрового подхода (как у В.Я.Проппа) ради общеродового”. Очевидно, что модель Бремона и аналогичные ей уступают системе Проппа в порождающей силе, которая, с точки зрения современной науки, является ее важнейшим достоинством.

Это могут подтвердить эксперименты, проведенные в свое время Дж.Родари (21, с. 81-82). Автор сказок и одновременно их исследователь был поражен, насколько перечень проповских функций совпадает с сюжетом любого приключенческого фильма или книги: “Вот что значит традиция сказки, как она нетленна, как вечно живет в нашей культуре”.

Родари так описывает свой эксперимент, поставленный для того, чтобы испытать проповские функции на продуктивность. Подобно другим исследователям, он со своими коллегами также пошел на сокращение их состава, произвольно сведя его к 20 элементам. Два художника изготовили 20 игральные карты, на каждой из которых значилось краткое название соответствующей функции, и был изображен рисунок:

- 1) предписание или запрет;
- 2) нарушение;
- 3) вредительство или недостача;
- 4) отъезд героя;
- 5) задача;
- 6) встреча с дарителем;
- 7) волшебные дары;
- 8) появление героя;
- 9) сверхъестественные свойства антагониста;
- 10) борьба;
- 11) победа;
- 12) возвращение;
- 13) прибытие домой;
- 14) ложный герой;
- 15) трудные испытания;
- 16) ликвидация беды;
- 17) узнавание;
- 18) изобличение ложного героя;
- 19) наказание;
- 20) свадьба.

Затем группа детей приступила к работе над придумыванием рассказа, построенного по системе “проповского ряда”. Родари видел, что с помощью этих “карт” ребятам ничего не стоит сочинить сказку, потому что каждое слово ряда (обозначающее функцию или сказочную тему) насыщено сказочным материалом и легко поддается варьированию. Своеобразно, например, был истолкован однажды “запрет”: уходя из дома, отец запретил детям бросать с балкона горшки с цветами на головы прохожих... Когда речь зашла о “трудных испытаниях”, кто-то не преминул предложить, чтобы герой отправился в полночь на кладбище. До определенного возраста это представляется верхом мужества.

Ребята любят также тасовать карты и придумывать свои правила, отмечает Родари. Например, строить рассказ на вытасованных наугад трех картах или начать сочинять с конца. Колоду “проповских карт” – 20 штук или 31, а то и из 50, как кому вздумается, – может сделать каждый, считает Родари. Такая игра вовсе не является головоломкой с заданием восстановить рисунок-мозаику. Карты Проппа позволяют создать бесчисленное число завершенных рисунков, ибо каждый элемент неоднозначен.

Можно сделать вывод, что модель Проппа, которую можно свести к простому перечню событий, тем не менее обладает большой порождающей силой.

К.Бремон в своей модели пытался преодолеть такой недостаток системы Проппа, как “двойная морфологическая функция”, и представлять в явном виде двойное и тройное значение события (29, с. 53). В сказочном сюжете ПОБЕДА героя одновременно означает и НАКАЗАНИЕ вредителя.

Такой “учет” значений оказывается важным потому, что события, которые можно описать наибольшим числом функций, вероятнее всего, как пишет М.-Л.Райен (36), образуют самые напряженные, кульминационные моменты сюжета. Например, когда Волк съел Красную Шапочку, он РЕШИЛ ЗАДАЧУ для себя, создал ПРОБЛЕМУ для жертвы, и, кроме того, ВРЕД заслуживает НАКАЗАНИЯ. Вообще система парных функций, восходящих к Проппу, кажется Райен надежной основой для создания формальной модели нарратива. В ее перечне можно увидеть знакомые пары: ЗАПРЕТ – НАРУШЕНИЕ, ПРЕДСКАЗАНИЕ – ИСПОЛНЕНИЕ, ЗАДАЧА (ЦЕЛЬ) – РЕШЕНИЕ, ВРЕД – НАКАЗАНИЕ, ЗАСЛУГА – НАГРАЖДЕНИЕ, ОСКОРБЛЕНИЕ – МЕСТЬ.

Создав событие, планируемая Райен программа для порождения рассказов оценивает его потенциал для выполнения данной функции. Она спрашивает, например, что означает “проглатывание маленькой девочки”. Затем она активирует данную функцию и избирает дальнейшую последовательность событий. Так, установив, что Волк причинил ВРЕД и создал ПРОБЛЕМУ для жертвы, программа должна подойти к НАКАЗАНИЮ и СПАСЕНИЮ. Та же процедура может ретроспективно порождать события, которые закончились тем, что Волк проглотил Красную Шапочку (в эксперименте Дж.Родари дети также могли начинать сочинять с конца).

Используя последовательность ЗАПРЕТ – НАРУШЕНИЕ – НАКАЗАНИЕ, программа представляет судьбу Красной Шапочки как заслуженное ИСПЫТАНИЕ. ЗАПРЕТ должен исходить от авторитета (скорее всего, матери): “Не вступай в разговоры с незнакомцами”.

Имея в базе знаний список сюжетных развязок с соответствующими коэффициентами, программа для порождения сказок типа “Красной Шапочки” выбирает ПОБЕДУ героя после ВРЕМЕННОГО ТРИУМФА вредителя, посредством ВНЕШНЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА. Коэффициент данной развязки говорит о том, что она имеет статус ВНЕЗАПНОГО ПОВОРОТА, который может быть использован только один раз.

Чтобы привести сказку к финалу, нужно, чтобы события соответствовали закону жанра. Программа переходит теперь к РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ героини и НАКАЗАНИЮ вредителя. Поскольку героиня беспомощна, перемена фортуны происходит при помощи внешнего агента, возникающего как “*deus ex machina*”. Выполняя роль двойной морфологической функции (или, по словам Райен, семантической поливалентности), программа объединяет СПАСЕНИЕ и НАКАЗАНИЕ. Поэтому событие имеет для вредителя фатальный исход.

На скептически настроенного читателя может не произвести большого впечатления способность программы написать сказку, очень похожую на “Красную Шапочку”, когда цель известна с самого начала. Подлинно креативная программа не должна быть специфически предпрограммирована, она должна разворачивать рассказ согласно внутренним правилам, но все же, считает М.-Л.Райен, вполне естественно, что ее программа ориентирована на рассказы, из которых построена ее база знаний. Но если это знание состоит из продуктивных элементов, программа в состоянии породить варианты архетипичных сюжетов, и эти варианты могут оказаться настолько разнообразными, что их не сможет предвидеть заранее создатель программы. Сюжеты будут различаться не только тематически, но и по структуре. Вариации в глобальной структуре зависят от выбора развязок- Развязка “герой побеждает в борьбе” приводит к выбору сюжета о драконоборце, развязка “вредитель остановлен с помощью успешного плана героя” может породить сюжет, сходный со сказкой “Гензель и Гретель”.

Различные сюжетные структуры можно генерировать, используя таблицу диверсификации сюжета: “ошибочные представления” приведут к “комедии ошибок” и т.д. Все это потребует введения новых модулей, чтобы в итоге создать Универсальный Генератор Сюжетов, или нарративный искусственный интеллект (термин “нарративный интеллект” впервые употребил П.Рикер (35).

Значение кажущейся безнадежной попытки научить компьютер искусству рассказывания историй заключается не столько в достижении конкретных результатов, сколько в возможности проверки гипотез.

Если модели нарратива, разработанные семиотиками, теоретиками литературы, представителями когнитивной науки и лингвистики, станут источником для программ

автоматического порождения рассказов, то эти программы могут стать в свою очередь эвристическим средством для получения новых знаний о природе нарратива.

Итак, вопрос о границах применимости системы Проппа обсуждается в литературе уже 70 лет. По мнению Ю.М.Лотмана, все опыты расширительного толкования пропповской модели и применения ее к нефольклорным повествовательным жанрам дали, в общем, негативные результаты. Структура волшебной сказки отличается простотой и устойчивостью. Она имеет “закрытый” характер, и если говорить не о генезисе, сказка была предохранена от контактов. Если внесказочная реальность вторгается в текст (“тут Иван стал в змея из нагана палить”), то она не проникает в структуру ее сюжета. Эпизод этот все равно будет включаться в набор вариантов функции “бой” (по Проппу). Функция “победа” в сюжетной структуре волшебной сказки может выполняться синонимическими ситуациями, безразличными к константной схеме: “антагонист побеждается в открытом бою”, “побеждается при состязании”, “убивается без боя”, “изгоняется”. С точки зрения сказки, это варианты одного сюжета. В романе (или подвергшихся, по выражению М.М.Бахтина, “романизации других жанров”) это были бы другие сюжеты (9, с. 326).

Ю.К.Щеглов задается вопросом о том, насколько реально создание аналогичных моделей для описания собственно литературных произведений, в частности новелл А.Конан Дойла о Шерлоке Холмсе. По его мнению, “не следует считать перенос пропповского принципа на полноценную литературу легким и механическим делом”, поскольку в литературных циклах инвариантные мотивы не располагаются на одном уровне, не образуют одной линии, а комбинируются между собой какими-то более сложными способами. Поэтому необходимо искать более сложную дескриптивную модель, которая дополняла бы пропповскую грамматику, а возможно, в какой-то мере и содержала ее в себе (26, с. 95).

С нашей точки зрения, такой взгляд отражает определенную недооценку креативной, или порождающей силы системы Проппа. Несмотря на то что многие, в том числе и сам В.Я.Пропп, ограничивали ее применение только жанром волшебной сказки, на самом деле можно наблюдать постепенное распространение этой модели. Правы также те исследователи, которые отмечают ее связь с определенным жанром. Как полагают фольклористы, В.Я.Пропп разработал свою модель на выборке из 100 сказок, представляющих жанр героической волшебной сказки, а для определенного сказочного жанра характерна особая модель сюжета (33). Важная особенность данного жанра – продуктивность сюжетной модели, выходящая за рамки фольклора.

В самом деле, вряд ли устарели или когда-либо устареют такие сюжетные функции героической сказки, как “вредительство” (“наступление беды”) – “ликвидация беды”, “борьба” – “победа”, “спасение” и т.п. Различение и отождествление их вариантов также зависит от определенного жанра и носит конкретный характер. Как указывает Ю.М.Лотман, “сюжет органически связан с картиной мира, дающей масштабы того, что является событием, а что его вариантом, не сообщающим ничего нового” (11, с. 283).

На “нетленную традицию” сказки указывал и Т.А. ван Дейк, отмечая, что в сказках, “совсем как в наших теперешних историях о Джеймсе Бонде, герой получает задание разрешить определенную проблему (например, вернуть царевну, похищенную Змеем-Горынычем), подвергается опасности, в серьезных испытаниях убивает врага, возвращается домой с победой и получает награду” (5, с. 193).

Как известно, полный перечень сюжетных функций Проппа включает 31 единицу. Но многие ученые, в том числе и К.Леви-Строс (7), обратили внимание на формулу так называемой простой сказки, выведенной В.Я.Проппом, которая включает в себя всего 12 символов и выглядит следующим образом:

$ie3b1A1B1C\uparrow B1 - \Pi 1L4\downarrow C^* (I)$

Эти символы читаются: “Царь, три дочери (начальная ситуация, i). Дочери гуляют (отлучка младших, e3), опаздывают в саду (рудиментарное нарушение запрета, b1). Змей похищает их (похищение человека – завязка или наступление беды, A1). Царь призывает на помощь (клич, B1). Согласие на противодействие (C). Три героя отправляются на поиски (↑). Три боя со змеем (борьба – победа, B1 – Π1), избавление девиц (ликвидация беды, L4). Возвращение (↓), награждение (C*)” (19, с. 97).

Сюжет данной русской сказки N 131 представляет особый интерес, так как он, по мнению самого Проппа, является основным: это означает, что если развернуть всю цепь трансформаций,

то морфологически все волшебные сказки могут быть выведены из сказок о похищении змеем царевен (19, с.88).

В.Я.Пропт проводил также различие между сюжетом и композицией. Композиция вышеприведенной сказки может быть определена следующим образом. К герою взывают о помощи. Он отправляется на поиски и находит объект своих поисков. Герой возвращается, и его награждают. “Легко заметить, что одна и та же композиция может лежать в основе многих сюжетов и наоборот: множество сюжетов имеют в основе одну и ту же композицию. Композиция есть фактор стабильный, сюжет переменный” (20, с. 143). Здесь, как нам кажется, термин “композиция” используется в смысле, характерном для термина “архисюжет”, под которым А.К.Жолковский и Ю.К.Щеглов понимают инвариантную структуру, общую, например, для одного писателя (“общетолстовский архисюжет”) или ту, которая является общей для некоторых его произведений, например, пяти детских рассказов Л.Н.Толстого: “Котенок”, “Девочка и грибы”, “Акула”, “Прыжок” и “Два товарища”.

Событийный архисюжет этих рассказов состоит из пяти блоков.

1. *Мирная Жизнь*. Герой беззаботно предается элементарным радостям жизни (прогулка в лес, сбор грибов, купанье в море).
2. *Катастрофа*. Герой попадает в беду (встреча с медведем, наезжающий поезд, появление акулы).
3. *Неадекватная Деятельность*. Неудачные (кажущиеся на первый взгляд целесообразными) попытки справиться с бедой.
4. *Спасительная Акция*. Только интуитивные, правильные в “глубинном” смысле действия приводят к спасению (девочка ложится под поезд; артиллерист стреляет из пушки, рискуя попасть в мальчика; отец, угрожая застрелить сына, заставляет его прыгнуть с мачты в воду).
5. *Возвращенный Покой*. Герои, избавившись от беды, вновь обладают простыми радостями жизни (6; с. 128).

Используя этот подход, сравним сюжетную схему простой сказки с сюжетом детективного рассказа или повести. Точнее говоря, будем сравнивать со схемой сказки не сюжет, а фабулу детективов, под которой понимается событийная основа произведения, совокупность событий в их хронологической или логической причинно-следственной связи, доступная внехудожественному освоению. Этот способ представления вполне применим для анализа не только сказок, но и литературных произведений.

Анализ сюжетов детективных рассказов позволяет увидеть в принципах их организации сходство со структурой фольклорных произведений. Сюжетное разнообразие детективов, как и разнообразие сказочных сюжетов, поддается определенному обобщению. Чтобы сравнение было более наглядным, можно попытаться сначала вывести формулу если не “базисного”, то, по крайней мере, достаточно характерного или типичного детективного сюжета. Так, возможно, самые знаменитые новеллы А.Конан Дойла “Пестрая лента” (ПЛ) и “Собака Баскервилей” (СБ) представляют собой одну и ту же детективную историю о преступлениях, мотивом которых является борьба за наследство. Например, сюжет рассказа ПЛ можно кратко представить следующим образом. Одна из сестер-близнецов, Джулия Стоунер, собирается выйти замуж и должна получить в связи с этим свою долю наследства, находящегося в распоряжении отчима Ройлотта. Внезапно она погибает при таинственных обстоятельствах. Другая сестра, которой, видимо, также угрожает опасность, обращается за помощью к герою-сыщику (Шерлоку Холмсу). Герой прибывает на место и, расследовав обстоятельства, в решающий момент вступает в борьбу, предотвращает покушение (отгоняет смертельно опасную ядовитую змею). Преступник, стремившийся к тому, чтобы безраздельно владеть наследством, гибнет, становясь жертвой своего замысла.

На очень похожих событиях основан сюжет повести СБ. Один из наследников семьи Баскервилей погибает при таинственных обстоятельствах. Другой наследник, которому, видимо, также угрожает опасность, обращается (через посредника) за помощью к Шерлоку Холмсу. Герой прибывает на место и, расследовав обстоятельства, в решающий момент вступает в борьбу, предотвращает покушение (убивает сверхъестественно страшную собаку). Преступник, стремившийся завладеть наследством, гибнет, становясь жертвой своего замысла.

Для наглядности представляем теперь параллельно в табл. 2 функционально сокращенную запись нарративных структур фабулы сказки и детектива.

Таблица 2

Сказка	Детектив
1	2
1) Некогда жил царь, у которого были три дочери (1)	1) Некогда жил богатый человек, у которого были наследники(1)
2) Однажды три дочери пошли погулять в сад (е3)	2) Однажды наследник вышел погулять в сад (отлучка е)

Продолжение табл. 2

1	2
3) забыли о времени и задержались (b1)	3) ночью, т.е. в неурочное время, и задержался (b1)
4) Появился змей (дракон) и похитил трех царевен (A1)	4) Появился страшный зверь (змея, собака) и убил первого наследника загадочным способом (убиение – A14)
5) Царь стал звать на помощь (B1)	5) Второй наследник (посредник) обращается за помощью (сообщение беды – B4)
6) Три героя услышали этот крик (C)	6) Герой (сыщик) согласился прийти на помощь (C)
7) и отправились спасать дочерей (†)	7) и отправился спасать второго наследника (†)
	8&9) Герой (сыщик), отбросив ложные следы (Ф-0)
	10) и узнав, кто убийца, (узнавание – У)
	11&12) решил загадку преступления (задача – решение, З – Р)
8) Герои вступили в борьбу со змеем (Б1)	13) Он вступил в борьбу с “драконом” (змеей, собакой) (Б1)
9) Они убили дракона (П1)	14) и победил “дракона”, т.е. преступника и его орудие (П1)
	15) Преступник погиб, став жертвой своего замысла (наказание – Н)
10) спасли девушек (Л4)	16) Герой спас наследника (Л4)
11) вернулись (↓) и	17) вернулся на Бейкер-стрит (↓)
12) получили награду (С*)	18) получил вознаграждение (С*)

Очевидно, что все 12 функций, составляющие сюжет “простой сказки” о похищении царевен змеем, несмотря на некоторые отличия, повторяются в детективной истории о наследстве, хотя сюжет детектива отличается от фавулы. В детективе, как правило, способ преступления и сама личность преступника остаются неизвестными до конца истории (12). В сюжете детектива обычно вначале описывается обращение за помощью, с которым очередной клиент приходит к сыщику и из которого мы узнаем о предшествующих событиях и их участниках. Фавула детектива гораздо более последовательно воспроизводит сказочный сюжет, который обычно от фавулы и не отличается.

Однако рассмотрим по порядку, как используются, в какую художественную форму преобразуются элементы сказочного “героического” сюжета в детективной прозе. Выше уже отмечалось, что детективный сюжет начинается обычно с просьбы клиента о помощи (ср. “ключ”, “сообщение беды в разных формах” по В.Я.Проппу), обращенной к герою (Шерлоку Холмсу), из которой мы узнаем о “начальной ситуации”, о событиях, предшествовавших преступлению и о самом преступлении.

В “Пестрой ленте” мы узнаем о том, что сестры-близнецы Джулия и Элен Стоунер, а также их отчим Ройлотт унаследовали большое состояние, которым до замужества сестер распоряжается Ройлотт. Но в случае замужества каждой из сестер должна быть выделена определенная сумма годового дохода. Когда Джулия сообщила о своей помолвке (это означало,

что ей должна быть выделена определенная сумма годового дохода), Ройлотт пошел на преступление и убил ее.

Здесь сюжетные ходы начинают повторяться, так как через два года Элен получила предложение выйти замуж. И это также служит для Ройлотта сигналом для нового преступления. Таким образом, желание сестер выйти замуж и получить долю наследства можно рассматривать как попытку “отлучки” и “нарушения запрета”. В ПЛ она повторяется дважды и вызывает яростное сопротивление антагониста, хотя на словах Ройлотт не возражает против намерений девушек и не обращается к ним с запретом. Однако явный “запрет” все же имеется, и адресует его Ройлотт самому Холмсу: “Не вздумайте вмешиваться в мои дела. Горе тому, кто станет у меня на пути. Смотрите, не попадитесь мне в лапы! Глядите!” Он быстро подошел к камину, взял кочергу и согнул ее своими огромными загорелыми руками”.

Однако Холмс немедленно идет на “нарушение запрета”: “Если бы он не ушел, мне пришлось бы доказать ему, что мои лапы ничуть не слабее его лап”. С этими словами он поднял кочергу и одним быстрым движением распрямил ее”.

Эта реакция характерна для Холмса (“реакция героя”). Обычно он, невзирая ни на какие “запреты” или трудности, соглашается прийти на помощь и направляется на место происшествия.

Об обстоятельствах, предвещающих завязку повести СБ, мы также узнаем из “сообщения беды” – рассказа доктора Мортимера, с которым он пришел к Шерлоку Холмсу, в том или ином виде они укладываются в такие структурные единицы, как “запрет”, “нарушение запрета”, “отлучка”. В повести СБ первый “запрет” звучит со страниц семейного предания Баскервильей: “Остерегайтесь выходить на болото в ночное время, когда силы зла властвуют безраздельно”. Затем, как это ни удивительно, первое преступление, повлекшее гибель сэра Чарлза Баскервиля и образующее завязку повести СБ, происходит в ... саду, или парке поместья, в котором он никогда не появлялся ночью, потому что был суеверен и верил в легенду о собаке. Однако преступник выманил его туда, прибегнув к обману (ср. такие функции Проппа, как g1 – “обманные уговоры вредителя” и g3 – “герой поддается или механически реагирует на обман вредителя”). Таким образом, в СБ цепочка начальных функций внешне реализуется практически в неизменном виде (со сказкой совпадают даже место их осуществления и эпизод задержки: впоследствии обнаружено, что сэр Чарлз дважды стряхивал пепел с сигары; см. табл.2). Важно, что все эти подготовительные функции непосредственно предшествуют трагедии (“наступлению беды”), обстоятельства которой не менее красочны, чем в сказке или мифе: “Кругом темнота, и в этой темноте мчится что-то огромное со светящейся мордой и огненными глазами. Сердце у баронета не выдержало, и он упал мертвым в самом конце аллеи”.

На этом завершается первый сюжетный ход. Преступник уничтожил одного наследника. Но парная функция “запрет – нарушение запрета” обыгрывается повторно теперь уже при появлении нового персонажа – второго наследника, сэра Генри Баскервиля. После приезда в Лондон он получает письмо, составленное из слов, вырезанных из газеты: “Если рассудок и жизнь дороги вам, держитесь подальше от торфяных болот”. Но сэр Генри тут же идет на “нарушение запрета”. Он отправляется в Баскервиль-холл со словами: “Ни адские силы, ни людские козни не удержат меня. Я поеду в дом своих предков”.

Нападению на сэра Генри также предшествуют “отлучка” и “нарушение запрета”, на этот раз организованные самим Холмсом. Стэплтон приглашает сэра Генри на обед, а Холмс просит возвращаться его пешком через болота, чтобы спровоцировать нападение. Таким образом, и здесь “отлучка” и “нарушение запрета” носят внешний характер: под ними скрываются скорее б2 – “приказание” и b2 – “исполненное приказание”, которые в свою очередь представляют собой варианты “запрета” и “нарушения запрета”.

Вариант “прибытия на место” в СБ связан с тем, что Холмс делает это тайно, скрывая свое присутствие даже от Ватсона (ср. функцию “неузнанное прибытие” (X) в полном списке В.Я.Проппа). Любопытно, что сначала Холмс и Ватсон еще в Лондоне сталкиваются с “неузнанным прибытием” антагониста, который явно в насмешку говорит, что его зовут Шерлок Холмс. Цель же “неузнанного прибытия” того и другого персонажа можно охарактеризовать как “выведывание” – (в).

Зато “место назначения”, куда прибывает герой, в СБ как нельзя более похоже на заколдованное “тридевятое царство”: “Сумрачная линия торфяных болот, прерываемая острыми вершинами зловещих холмов”. Над этими болотами, где каждый шаг таит опасность, раздается “невyraзимо тоскливый вой” и т.д.

Как известно, в волшебной сказке действует определенное число персонажей, каждому из которых отводится выполнение определенных функций. Всего в волшебной сказке могут принимать участие семь персонажей: отправитель героя, герой, даритель волшебных предметов, вредитель, помощник, ложный герой, царевна или ее отец. Если кого-либо из этих персонажей в сказке недостает, то соответствующие функции перераспределяются между действующими персонажами.

Подобно сказкам, детективы также обладают набором основных персонажей. По сравнению с семиперсонажной героической сказкой, в конан-дойловском сюжете можно выделить пять основных, или постоянных, персонажей, которые напоминают героев сказочных: сыщик – герой, преступник – вредитель, или антагонист, помощник – помощник, жертва – царевна (или другой персонаж, с которым приключается беда, похищение и т.п.). По некоторой аналогии с ложным героем в сказке, в детективе может быть ложный преступник, оставляющий ложный след. Можно сказать, что постоянным персонажам “раздаются функции событийного архисюжета” (6, с. 129). В детективном архисюжете наибольшее число функций отдается сыщику.

Как и в сказке, этот герой выполняет весьма важные функции. Чтобы одержать победу над преступником, он распутывает следы, разгадывает мотивы и устанавливает личность преступника (обычно это происходит перед решающей схваткой); т.е. эпизодам “борьба – победа” предшествует “решение трудной задачи”. Эта функция во многих детективах, в том числе в рассказах А.Конан Дойла занимает центральное место. Прежде чем бесстрашно, подобно сказочному герою, вступить в опасный поединок с преступником, Шерлок Холмс (и другие сыщики-интеллектуалы) доказывают свою необычайную проницательность, так как необходимо еще установить самую личность антагониста.

Разработка этого эпизода связана с тем, что сыщику сплошь и рядом приходится отбрасывать ложные следы, улики или признания. Поэтому в детективе почти всегда присутствует такая пара функций, как “ложная, или банальная версия” и “отказ от ложной версии”, и, соответственно, связанные с ним персонажи. В “Пестрой ленте” это цыгане, которые появляются перед домом, где совершаются преступления (здесь Конан Дойл предусмотрел ложный след уже в названии рассказа “The Speckled Band”; англ. band – это омоним, означающий как “лента”, так и “банда”). В “Собаке Баскервилей” – беглый каторжник, прячущийся на болотах. Следовательно, можно дополнить формулу детектива данной парой функций. Эти действия сыщика, казалось бы, прямо почерпнуты из практики криминалистики. Однако, чтобы не вводить новых символов воспользуемся теми, что использовал В.Я.Пропп в полной формуле волшебной сказки для обозначения функций: Ф – “Притязание ложного героя” и О – “Обличение ложного героя”. Наконец, в окончательное решение задачи входит “Узнавание” (У) антагониста, о котором будет сказано ниже.

Поместим эти три функции между парой З – Р (задача – решение) : З Ф О У Р. Эта цепочка схематически отражает основное ядро, или сердцевину, детектива – процесс раскрытия тайны преступления и установления личности преступника. Если все многообразие детективов свести к основному ядру, то ядром этим окажется всегда и неизменно двойное чтение улики: ложное и истинное (27, с. 141)⁸.

⁸ Опираясь на эту особенность, С.М.Эйзенштейн создает настоящий апофеоз детективного жанра:

“Детективный роман весь построен на двойном чтении. И если все многообразие перипетий всего мирового эпоса детективной литературы (и чем это менее фольклор мирового размаха, способный спорить с “Одиссеей”, “Божественной комедией” или Библией?!) свести к основному ядру, то ядром этим окажется всегда и неизменно двойное чтение улики: ложное и истинное.

Первое окажется поверхностным, второе – по существу. Или, говоря более специальными терминами, первое будет восприятием непосредственным, второе... – понятийно раскрытым.

Но это двойное чтение принадлежит не только к разным методам.

Оно есть разные этапы, разные стадии восприятия и понятия явлений вообще.

Оно есть именно те две стадии, через которые проходит в своем развитии человечество и в своей частной биографии каждый человек, двигаясь от поэтического, эмоционального, образного освоения природы к овладению ею знанием, понятием и наукой.

С тем чтобы на конечных вершинах своих взаимоотношений с Вселенной владеть и общаться с ней через синтез научной и поэтической взаимосвязи.

Сказочные герои за свои подвиги получают царскую награду. Холмс зарабатывает себе на жизнь, оказывая помощь своим клиентам. Однако он неоднократно демонстрирует бескорыстие, либо отказываясь от денег, либо беря символическую плату: “А вознаграждения мне никакого не нужно, так как моя работа служит мне вознаграждением”. Таким образом, функция “награда” часто приобретает у Конан Дойла вид отказа от “вознаграждения”, который служит дополнительным средством выразительности для характеристики героя.

Интерес вызывает еще одно поразительное сходство, которое можно обнаружить в структуре простой сказки и выделенного нами “базисного” детективного сюжета. Подобно герою мифа (Персей), Шерлок Холмс борется не просто с преступником, но одновременно одерживает победу над “драконом”. В “Пестрой ленте” он вступает в борьбу с экзотической и необычайно ядовитой индийской змеей. Само по себе это имеет несомненное сходство с мотивом борьбы со змеем, или драконом. Не менее экзотична и страшная собака с фосфоресцирующей мордой, т.е. с огнедышащей пастью дракона, ожившая со страниц средневекового предания.

Впервые подобная собака – орудие преступника появляется в рассказе А.Конан Дойла “Медные буки” (МБ). Интрига в нем также связана с наследством, а сюжет рассказа представляет собой до некоторой степени синтез ПЛ и СБ. Хозяин имения Рукасл, подобно Ройлотту из ПЛ, не хочет делиться наследством. Он заточил свою дочь от первого брака, требуя, чтобы она отказалась от всего, что ей принадлежит по закону после смерти ее матери. Чтобы она не могла убежать с помощью своего жениха, Рукасл выпускает ночью “огромного, величиной с теленка, дога с горящими во тьме глазами”. В решающий момент, когда прибывший на место Холмс разоблачает замысел Рукасла, тот выпускает собаку, но она сразу же набрасывается на хозяина. Если Стэплтон погибает в трясине, а Ройлотт от смертельного укуса змеи, то Рукасл остается живым, но жестоко искалеченным (согласно Проппу, это функция “Наказание” – Н). Жизнь ему спасает Ватсон: “Огромный зверь с черной мордой терзал за горло Рукасла. Подбежав к собаке, я выстрелил; она упала, но белые ее клыки так и остались в жирных складках шеи”. (Ср. сцену гибели Хьюго Баскервиля, где уже вполне отчетливо проявляется архетип “дракона”: “Над Хьюго стояло мерзкое чудовище – огромный черной масти зверь, сходный видом с собакой. И это чудовище у них на глазах перервало глотку Хьюго Баскервиля и, повернув к нам свою окровавленную морду, сверкнуло горящими глазами”).

По сравнению с мифом и сказкой, страшный зверь у Конан Дойла является лишь орудием в руках преступника. С другой стороны, эти три новеллы Конан Дойла отличаются от знаменитой новеллы Эдгара По “Убийство на улице Морг” – родоначальницы, как принято считать, современного детектива. Здесь также орудует страшный зверь – огромный орангутанг, но его хозяин-матрос вовсе не замышлял никакого преступления. Убийство произошло случайно, когда огромная обезьяна вырвалась на волю. Сюжет Эдгара По сводится к демонстрации способностей Дюпена найти решение трудной задачи, отбросив ложные версии, и тем самым освободить от подозрений невинного человека, т.е. к разработке все той же цепочки сюжетных функций, составляющих ядро детектива:

З Ф О У Р.

Только проницательный Холмс в состоянии увидеть, кто скрывается под масками того или другого преступника. “Умение проникать взором за маскировку – основное качество сыщика”, – говорит Холмс. В этом ему помогает фамильное, или генетическое, сходство. Стэплтона разоблачает портрет его предка Хьюго Баскервиля. Характер Рукасла Холмс угадывает из рассказа о его сыне, подверженном припадкам то дикой ярости, то мрачной угрюмости. Холмс приходит к выводу: “Этот ребенок аномален в своей жестокости, и унаследовал ли он ее от своего улыбочивого отца или от матери, эта черта одинаково опасна для

В этом смысле каждый роман “тайны” (mystery) есть произведение мистериальное, трактующее о вечной и неизменной “драме” становления личного сознания, через которую проходит каждый человек без скидок на расу, класс или нацию.

И в этом, конечно, основная подоплека неизменной fascinации (прелести) детективного романа. И мы видим на форме мирового фольклора – на детективной новелле – такую же стройную закономерность, какую обнаруживаем в творчестве отдельных, особенно высокоодаренных (иногда гениальных) творцов, сквозную закономерность, равно пронизывающую принцип целого, любую деталь и, не останавливаясь на этом, также и строй языка (см. Шекспира).” (27, с. 141-142)

той девушки, что находится в их власти”. Такую форму приобретает в детективе функция “Узнавание” (У). Эта пропповская функция восходит к приему *anagnorisis* – узнавание, введенному Аристотелем и означающему переход от неведения к знанию, когда речь идет о таких событиях, как тайное убийство, инцест и т.п. (30). А.К.Жолковский и Ю.К.Щеглов относят “Узнавание” к таким приемам выразительности, как ВНЕЗАПНЫЙ ПОВОРОТ (ВН-ПОВ), характеризуя его следующим образом: “Для ментальных ВН-ПОВ естественным содержательным ореолом являются темы типа познание, откровение, истина; ср. органическую связь перипетий узнавания в “Эдипе” Софокла с “гносеологической” темой трагедии” (6, с.75).

Как отмечает Е.М.Мелетинский, “универсальными противниками (“вредителями”, по терминологии В.Я.Проппа) являются змеи-драконы, а также разнообразные варианты людоедов”. Он же пишет: “В архетипическом мотиве “драконоборство”... происходит убийство в богатырском поединке, когда речь идет не о собственном спасении, а о спасении другого (жертвой обычно бывает прекрасная женщина)” (13, с. 53). “Величайшие шедевры сюжетного мира – архетипические сюжеты детективного романа и сказки о борьбе с драконом – создания коллективного, а не индивидуального творчества”, – полагает М.-Л.Райен (36).

В связи с этим стоит обратить внимание и на персонажей, которых удастся спасти. Шерлок Холмс, поражая “дракона”, спасает беззащитную женщину (вырывает из его “лап”). Как говорилось выше, в мифе это прекрасная женщина. У Конан Дойла этому идеалу и архетипу в наибольшей степени соответствует миссис Стэплтон (СБ), лицо которой поражает своей красотой, тонкими, горделивыми чертами. Героини ПЛ и МБ, по крайней мере, молоды, не лишены привлекательности и по окончании тяжелых испытаний благополучно выходят замуж за своих женихов (функция “Свадьба” по Проппу). Кроме того, героини насильно удерживаются преступником, т.е. А.Конан Дойл использует здесь также присущий мифу и сказке мотив пленения.

Итак, нарративная схема и система персонажей викторианской литературной сказки, если так можно назвать детективные новеллы А.Конан Дойла (ПЛ, СБ и МБ), в которых представлен архи- или макросюжет о борьбе за наследство и о борьбе со “змеем-драконом”, во многом совпадают с нарративной схемой и персонажами русской волшебной сказки (в частности, сказки о похищении змеем-драконом царевен), установленными в свое время В.Я.Проппом, полагавшим, что эта сказка (N131, или АТ 300) – эквивалент мифа о Персее. Дополним формулу простой сказки недостающими функциями из полного списка В.Я.Проппа. Тогда основная структура, и в особенности последовательность функций, начиная с завязки (А), представляет собой инвариант для всех трех новелл Д.Конан Дойла:

ieb ABC↑ЗФОУРБ – ПЛН↓С*(П)

Условные обозначения:

і – Начальная ситуация, б – “Запрет”, в – “Нарушение запрета”, е – “Отлучка”, А – “Вредительство”, В – “Сообщение беды”, С – “Начинающееся противодействие”, ↑ – “Отправка героя из дома”, Б – “Борьба”, П – “Победа”, З – “Трудная задача”, Р – “Решение задачи”, Л – “Ликвидация беды”, Н – “Наказание”, ↓ – “Возвращение героя”, Ф – “Ложная версия”, О – “Отказ от ложной версии”, У – “Узнавание”, С* – “Свадьба” (вообще счастливый конец).

Повторяющееся использование сюжетных схем Т.А. ван Дейк и В.Кинч пытались объяснить с помощью разработанной ими модели стратегии понимания текста. Они отмечают: “Во многих типах дискурса проявляется традиционная, культурно-обусловленная схематическая структура – одна из высших форм, организующая макропропозиции (глобальное содержание текста). Так, рассказам обычно приписывается нарративная схема, состоящая из иерархической структуры таких традиционных категорий, как Завязка, Кульминация и Развязка. Мы называем эти схемы суперструктурами текста... Суперструктура обеспечивает обобщенный синтаксис глобального значения и макроструктуры текста... того, что называется сутью, общим содержанием, темой текста” (4, с. 168-169).

Но, используя терминологию Л.Ельмслева, можно сказать, что завязка, кульминация и развязка – это сегменты *формы* содержания, в то время как функции и мотивы – элементы *субстанции* содержания. В.Я.Пропп сравнивал их с генами. Его открытие состояло в переходе, точнее сказать, в прорыве к новому, более глубокому уровню анализа сюжета. Для сравнения можно привести соответствия традиционных и пропповских категорий на примере детективного сюжета.

Таблица 3

Завязка	СООБЩЕНИЕ клиента: ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Развитие	СОГЛАСИЕ сыщика ЗАДАЧА
	УЗНАВАНИЕ преступника
Кульминация	БОРЬБА
Развязка	ПОБЕДА
Эпилог	РЕШЕНИЕ

И здесь снова следует вернуться к проблеме взаимоотношения понятий “фабула” и “сюжет”. Фабула по мнению Н.Краусовой, есть процесс генерации (генотип, или “генотекст”), который можно изучать только на уровне сюжета (фенотипа, или “фенотекста”). Генотекст-фабула – это уровень, где наиболее отчетливо выступает автор – субъект рассказа, а не избранный им рассказчик, план которого всецело принадлежит сюжету-фенотексту (37). Инвариантная формула новелл ПЛ, МБ и СБ, приведенная выше, служит моделью их генотекста.

Попытки трансформировать линейную формулу сюжета сказки о борьбе с драконом в схему, где действия, цели и состояния персонажей распределены по графам таблицы, можно найти в работе Х.Олкера (16), а ранее та же задача решалась К.Бремоном (2). Но по-настоящему такой недостаток модели Проппа, как ее линейный характер, можно преодолеть с помощью фреймового подхода. Каждая из функций может быть представлена в виде фрейма (модели ситуации или события). Например, “Похищение” можно представить в следующей форме:

ПОХИЩЕНИЕ: (<КТО> <КАК> <КОГО ИЛИ ЧЕГО> <ОТКУДА> <КУДА> <ЗАЧЕМ>).

Такие фреймы называются ролевыми, они позволяют связать описываемые действия (события) и их участников. В угловых скобках написаны слова, на место которых надо подставлять конкретные элементы из соответствующих множеств (например, для замены слова <КТО> можно использовать элементы множества, содержащего такие персонажи, как Кощей Бессмертный, Змей Семиголовый, Злой Колдун и т.п.) (18, с.165).

Приведенное выше описание фрейма ПОХИЩЕНИЕ как нельзя лучше подходит для представления детективного сюжета. Так, Холмс предполагает, что в имени “Медные буки” произошло ПОХИЩЕНИЕ, однако ему предстоит нелегкая работа по раскрытию остальных слотов этого фрейма (поначалу неизвестен не только преступник, но неизвестно даже, кого похитили). Вначале фрейм ПОХИЩЕНИЕ вложен или включен в другой фрейм (функцию) СООБЩЕНИЕ, из которого мы и узнаем о происшедшем преступлении:

СООБЩЕНИЕ (<КТО – клиент> <КОМУ – Холмсу>): ПОХИЩЕНИЕ (<КТО> <ГДЕ – в имених “Медные буки”> <КОГО> <КАК> <ЗАЧЕМ>).

Затем этот же фрейм ПОХИЩЕНИЕ, слоты которого по-прежнему не раскрыты, вкладывается во фрейм ЗАДАЧА, решение которой принимает на себя Холмс. Если под фреймом ЗАДАЧА понимать процесс расследования, то он может включать этапы решения или расследования, т.е. в него входят фреймы ЛОЖНАЯ ВЕРСИЯ и ОТКАЗ ОТ ЛОЖНОЙ ВЕРСИИ – они описывают попытку и отказ от неверного решения, а также фрейм УЗНАВАНИЕ, который по сути означает заполнение слота <КТО> во фрейме ПОХИЩЕНИЕ, т.е. установление личности преступника.

Наконец, фрейм РЕШЕНИЕ символизирует окончательный результат расследования, демонстрируя заполнение всех остальных нераскрытых слотов фрейма ПОХИЩЕНИЕ (или другого фрейма, описывающего преступление). Часто это описание производится самим Холмсом в эпилоге новеллы, т.е. уже после развязки, после возвращения на Бейкер-стрит:

РЕШЕНИЕ (<Холмс>):

ПОХИЩЕНИЕ (<КТО – хозяин имения> <КОГО – дочь хозяина> <ГДЕ – в а имени “Медные буки”> <КАК – тайная комната, страшная собака для охраны> <ЗАЧЕМ – не делить наследства>).

В книгах, содержащих криминальную загадку, перед читателем ставятся вопросы “Кто?”, “Почему?”, “Каким способом?” Точнее говоря, эти вопросы ставятся перед героем-сыщиком. Главной задачей Шерлока Холмса является “не столько построение логических дедукций, сколько выявление, или экспликация, невербализованной информации”. Для этого необходима определенная концептуальная система. “Ключевой идеей, на которую опирается данная система, является понятие вопроса, который служит для активации и актуализации невербализованного знания” (23, с. 268).

Вопросы со всей эффективностью могут выступать в слотах ролевых фреймов в качестве имен концептуальных падежей, как множество дополнительных модификаций действия (24, с. 35). Их можно использовать вместо принятых вслед за Ч.Филлмором таких обозначений, как Агенс (А), Пациенс (П), Объект (О), Инструмент (И) и т.п., так как эти обозначения предполагают ограниченный набор падежей, но при этом их число сильно варьирует у разных исследователей. Кроме того, “специализированные падежи” могут и не иметь названия:

“Фред (А) читает книгу (О) на французском языке (?)” (31).

Для представления событийной структуры повествования вопросы являются достаточно гибким средством интеграции семантической и прагматической информации, образуя концептуальный уровень представления, которое должно “поставлять ожидания”. Падежные фреймы выполняют эту функцию: пустые слоты (незаполненные падежи) указывают на информацию, которой недостает и которую нужно вывести (25, с. 385). По мере развития сюжета мы видим, как Холмс вырабатывает решение (происходит заполнение пустых слотов).

Концептуальная система должна уметь ответить на вопросы по содержанию рассказа. К решению этой задачи можно приблизиться, используя фреймовый язык. “Свойство вложенности, возможность иметь в качестве значений слотов ссылки на другие фреймы и на другие слоты того же фрейма обеспечивают фреймовым языкам удовлетворение требованиям структурированности и связности знаний. Для описательных наук фреймы – один из немногих способов формализации, создания понятийного аппарата” (17, с.40-41).

Благодаря этим свойствам оказывается возможным описать события и роли персонажей, как они изложены рассказчиком в сюжете, а не в хронологической последовательности, соответствующей фабуле (22, с.246), что дает возможность повысить степень креативной, или порождающей, силы системы Проппа.

Дальнейшее совершенствование модели формального представления сюжетов связано с делением сюжетных элементов по уровням специфичности. Модель представления структуры текста, основанная на трех уровнях специфичности, описана в работе (34). Используя три уровня специфичности, можно достаточно четко, как было показано выше, выделить в детективном сюжете уровень архетипов (прототипов), который прямо указывает на его фольклорно-мифологическую основу. Сюжетная структура героической сказки или мифа о борьбе с драконом использована не только в таких новеллах А.Конан Дойла, как “Пестрая лента”, “Собака Баскервилей”, “Медные буки”, но и в рассказе “Морской договор” (где характер описываемых событий носит вполне реальный, а не полуфантастический характер). Далее, важно выделить в детективном сюжете уровень типовых событий, постоянно используемых автором для описания ситуаций расследования и поимки преступника. Включая в формальное представление уровень деталей и подробностей, специфичных для данного рассказа, можно вполне точно охарактеризовать его особенности по сравнению с другими рассказами и не упустить ни одно из важнейших событий для развития сюжета (например, Э.Скриб связывал с весьма банальными деталями исторические события и, соответственно, сюжет своей пьесы “Стакан воды”).

В свое время Т.А. ван Дейк и В.Кинч указывали на необходимость отражения во фреймах специфичных событий и свойств, не предусмотренных стереотипным сценарием и организованных другими фреймами (например, на возможность предусмотреть в сценарии ПОСЕЩЕНИЕ РЕСТОРАНА такие фреймы, как “ссора” или “пожар”) (31).

Рассмотрим сюжет новеллы А.Конан Дойла “Морской договор” с учетом принципов, изложенных выше. Сюжет представляет интерес еще и потому, что построен с использованием, по крайней мере, 12 функций В.Я.Проппа, включая такие события – сюжетные прототипы (архетипы), как *НАРУШЕНИЕ ЗАПРЕТА, *ОТЛУЧКА, *ПОХИЩЕНИЕ, *СООБЩЕНИЕ, *СОГЛАСИЕ, *ЗАДАЧА, *ПРИБЫТИЕ, *УЗНАВАНИЕ, *РЕШЕНИЕ, *БОРЬБА, *ПОБЕДА и т.п. (они обозначены заглавными буквами и отмечены звездочкой). Прототипы составляют первичную основу, или базисный уровень сюжетной конструкции.

Ко второму уровню относятся присущие данному жанру типовые сюжетные события; они обозначены заглавными буквами: ЛОЖНАЯ ВЕРСИЯ, ПОПЫТКА ВЗЛОМА, ЗАСАДА, а также РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЕЛА (26) и ПОИМКА С ПОЛИЧНЫМ (8, с. 156). Последние два, как и фреймы *СООБЩЕНИЕ, *СОГЛАСИЕ, *ЗАДАЧА и др., являются сложными блоками и включают в себя другие фреймы.

Наконец, к третьему уровню специфичности относятся сюжетные события на уровне деталей и подробностей, описывающие такие действия, как “заказ <кофе>” во время *ОТЛУЧКИ, “возращение похищенного” <договора> в результате ПОИМКИ С ПОЛИЧНЫМ и “продажа” как цель *ПОХИЩЕНИЯ <договора>. Эти функции обозначены строчными буквами и даны в кавычках.

В рассказе “Морской договор” сотруднику министерства иностранных дел Фелпсу было дано ответственное поручение: сделать копию с тайного договора между Англией и Италией. Во время работы он вышел из комнаты и, не закрыв ее, спустился в вестибюль, чтобы заказать кофе швейцару. Когда он вернулся, все лежало на месте, кроме доверенного документа. Фелпс заподозрил в краже жену швейцара.

Таким образом, в *СООБЩЕНИИ Фелпса рассказано о следующих событиях: о начальной ситуации, об отлучке Фелпса с нарушением запрета, о похищении документа и об оказавшейся впоследствии ложной версии.

*СООБЩЕНИЕ: (<КТО – Фелпс> <КОМУ – Холмс, Ватсон>):

*НАЧАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ: (<КТО – Фелпс> <договор> <ГДЕ – комната в МИДе>)

*НАРУШЕНИЕ ЗАПРЕТА: *ОТЛУЧКА: (<КТО – Фелпс <ОТКУДА – из незапертой комнаты> <ЗАЧЕМ – “заказ” <кофе>>)

*ПОХИЩЕНИЕ: (<КТО – ?> <ЧЕГО – договора> <КАК – из незапертой комнаты> <ОТКУДА – из министерства> <ЗАЧЕМ – ?>)

ЛОЖНАЯ ВЕРСИЯ (<Фелпс>): *ПОХИЩЕНИЕ: (<КТО – жена швейцара> <ЧЕГО – договора> <КАК – из незапертой комнаты> <ЗАЧЕМ – ?>)

Чтобы перейти от фреймового представления сюжетной схемы к его текстовому воплощению в виде пропозиций, необходимо ввести следующий (четвертый) уровень фреймов, а именно фреймы конкретных глагольных лексем. Если глобальные фреймы первых трех уровней содержат концептуальную (прагмасемантическую) информацию и не зависят от конкретного языка, то глагольные фреймы расположены на семантико-синтаксическом уровне и строятся по правилам данного языка. Для этого необходима соответствующая лексическая база данных, содержащая структуры глагольного управления (3). Лексическая база должна содержать также тезаурус слов, принадлежащих другим частям речи. В свое время, проанализировав работу В.В.Маяковского “Как делать стихи”⁹, Иржи Левый предложил схему подобного взаимодействия. В результате этого процесса последовательно отбрасываются 12 вариантов строки, которая окончательно имеет вид:

“Для веселия планета наша мало оборудована”

оборудована/ы

мало

не очень

⁹ Характерно, что Маяковский, друг В.Шкловского и Р.Якобсона, сам проявлял склонность к формальному анализу поэтического творчества. Разбирая свое стихотворение “Сергею Есенину”, он пишет о его замысле и “общем архитектурном плане”:

“Попробуем и продумаем, решаю: сначала надо заинтересовать всех слушателей двойственностью, при которой неизвестно, на чьей я стороне... Завоевав аудиторию... неожиданно пускать слушателя по линии убеждения в полной... неинтересности есенинского конца, перефразировав его последние слова, придав им обратный смысл. Примитивным рисунчком получится такая схема:

(Вл. Маяковский. Соч. в двух томах. – М., 1988. Т. 2. – С. 168).

не особенно

	веселье		
наши/а	дни	к	радость
	жизнь	под	счастье
	планетадля		веселости
			удовольствия
			веселия

Примерно таким образом происходит взаимодействие тезаурусного и семантико-синтаксического фреймов.

Существует аналогия между актантом ситуации и концептуальным падежом (1), фреймом и глагольной валентностью, моделью ситуации и моделью предложения. Благодаря этой аналогии, как отметил Ю.М.Лотман, сюжет всегда строится по принципу фразы, “фразы второго уровня”. Не случайно фразы “Он был убит” или “Она бежала с гусаром” могут быть интерпретированы и как фразы из текста (первый уровень), и как сюжетные события” (10, с. 345).

Для имен фреймов-событий можно найти ряды соответствующих глаголов, способных обозначать данное событие. Во-первых, это глаголы с прямой или ядерной семантикой: *ПОБЕДА – одержать победу, одолеть, взять верх; “возвращение похищенного” – возвращать, отдавать, вернуть и т.д. Во-вторых, это глаголы с периферийной семантикой, которые могут не содержать соответствующего компонента в структуре своего значения, но тем не менее способны обозначать данное событие в определенной ситуации: *ПОХИЩЕНИЕ – исчезнуть, пропасть (28).

Задачу моделирования облегчает тот факт, что в детективном сюжете имеется ограниченное число действующих лиц, точнее, ограниченное число ролей персонажей – их всего пять: сыщик, помощник сыщика, преступник, жертва (клиент) и ложный преступник. Поэтому возможно установить распределение функций между ролями и фреймами, актантами и глаголами. Это подтверждают примеры соответствий фреймов и контекстов, образующих конечный или поверхностный уровень текста рассказов А.Конан Дойла. Точнее говоря, фразы, взятые из текста, являются одновременно и фразами второго уровня – обозначениями сюжетных событий (“Морской договор”):

*СООБЩЕНИЕ <беды>: (<КТО – Фелпс <КОМУ – Холмс, Ватсон>): Уже готовилась моя свадьба, как вдруг ужасная беда разрушила все мои жизненные планы.

*ОТЛУЧКА: <КТО – Фелпс>): Открыв дверь, я вышел в коридор.

<ЗАЧЕМ – “заказ” <кофе>: Я попросил ее сварить мне кофе. *ПОХИЩЕНИЕ: <ЧЕГО – договора>): Документ исчез со стола. Копия была на столе, а оригинал пропал, (В другом месте; Совершена кража, – задыхаясь, сказал я, – из министерства иностранных дел украден чрезвычайно важный документ.)

*СОГЛАСИЕ: (<КТО – Холмс>): Дело это весьма трудное и запутанное, но я обещаю заняться им серьезно.

ПОИМКА С ПОЛИЧНЫМ:

ЗАСАДА: (<КТО – Холмс> <ГДЕ – усадьба Фелпса>): Ждать мне пришлось очень долго... почти столько же, когда расследовали дело с “пестрой лентой”.

ПОПЫТКА ВЗЛОМА: (<ГДЕ – спальня Фелпса> <КТО – ?>): Кто-то тихонько отодвинул засов.

*БОРЬБА: (<Холмс> <Джозеф> <ГДЕ – спальня Фелпса>): Он бросился на меня с ножом, и мне пришлось дважды сбить его с ног, прежде чем...

*ПОБЕДА: (<Холмс>): я взял верх.

*ЛИКВИДАЦИЯ НЕДОСТАЧИ: “возвращение похищенного”: (<КТО – Холмс < Джозеф> <ЧЕГО – договора>): Уговорам моим он внял и документ отдал.

Следует отметить, что есть такие сюжетные элементы, у которых могут отсутствовать текстовые эквиваленты. Как писал В.Я.Пропп (19, с. 32), “иногда этот момент словами не упоминается”, но подразумевается, например, “волевое решение предшествует исканию”. В таких случаях сюжетное событие может быть представлено только условными обозначениями

(фреймами)¹⁰ и фразами второго уровня. Нередки также случаи, когда именно намерения и “волевые решения обозначают сами события:

ЗАСАДА: (<КТО – Холмс, Лестрейд, Ватсон>): Здесь и будем ждать? Да, устроим засаду. Станьте вот сюда, Лестрейд (СБ).

Накапливая базу знаний системы, можно ожидать, что построенная в достаточном объеме из продуктивных элементов, система искусственного нарративного интеллекта сможет функционировать в интерактивном режиме как “рабочее место” автора детективных сюжетов для написания рассказов, сценариев и т.п. и производить варианты архетипических сюжетов, которые окажутся настолько разнообразными, что их нельзя будет предвидеть заранее. Система может быть использована и как анализирующее устройство, способное при чтении текста отождествлять функциональные сюжетные единицы и объяснять, что означает выражение “это тот же самый сюжет”, т.е. приводить данный сюжет к его прототипу.

Можно проследить, например, как воспроизводится прототип сюжета “Пестрой ленты” в романе Р.Стаута “Гремучая змея”. Первое таинственное убийство происходит с помощью устройства, вмонтированного в клюшку для гольфа. При ударе по мячу отравленная игла поначалу совершенно незаметно для окружающих поражает жертву. Расследуя этот случай, знаменитый сыщик Ниро Вулф приходит к выводу, что это убийство. Не скрывая своих подозрений, он говорит и об *УЗНАВАНИИ преступника. Хотя Вулфу пока не хватает улики, преступник решает расправиться с ним. Ему удается проникнуть в дом сыщика и спрятать в его письменном столе смертельно ядовитую гремучую змею. Заподозрив преступный замысел, Вулф и его помощник Гудвин, вооружившись палкой Вулфа, осторожно открывают ящики стола. “Голова змеи уже обогнула угол стола и направилась в нашу сторону. Одним прыжком я подскочил к Вулфу и взмахнул палкой, но Вулф успел опередить меня: он точно попал и размозил голову гадине, готовящейся броситься на него”.

Остроумный Вулф решает запаковать змею и отправить ее “автору этой интермедии”.

Этот пример показывает, что в сюжете могут воспроизводиться не только элементы на уровне прототипов (архетипов) или типовые функции (ясно, что механическая отравленная игла – это всего лишь имитация укуса змеи), но и некоторые детали и подробности: палка Вулфа не может не напомнить трость Холмса и то, как он, услышав шипение змеи, стал стегать ее тростью и тем самым заставил напасть на хозяина.

Безграничность сюжетного разнообразия даже в классическом романе имеет, по мнению Ю.МЛотмана, иллюзорный характер. На уровне романного сюжетостроения рост разнообразия и вариативности компенсируется прогрессирующей устойчивостью. “Отсюда регенерация весьма архаических и отшлифованных многими веками культуры сюжетных стереотипов” (9, с. 330).

Список литературы

1. Богданов В.В. О перспективе изучения семантики предложения // Синтаксическая семантика и прагматика. Калинин, 1982. – С. 22-28.
2. Бремон К. Логика повествовательных возможностей // Семиотика и искусствознание. – М., 1972. – С. 108-135.
3. Волкова И.А., Головин И.Г., Кривнова О.Ф. Компьютерный словарь моделей управлений русских глаголов: (Эксперим. вариант) // Труды Международного семинара Диалог'98 по компьютерной лингвистике и ее приложениям. – Казань, 1998. – С. 448-452.
4. Дейк Т.А. ван, Кинч В. Стратегии понимания связного текста // Новое в зарубежной лингвистике. – М., 1988.- Вып. 23: Когнитивные аспекты языка. – С. 153-211.
5. Дейк Т.А. ван. Язык. Познание. Коммуникация, – М., 1989. – 312 с.
6. Жолковский А.К., Щеглов Ю.К. Работы по поэтике выразительности. – М., 1996. – 342 с.
7. Левин-Строс К. Структура и форма: Размышления над одной работой Владимира Проппа // Зарубежные исследования по семиотике фольклора. – М., 1985. – С. 9-34.

¹⁰ Ср. приведенный выше такой блок сюжетных событий, как ПОИМКА С ПОЛИЧНЫМ, содержание которого раскрывается включенными в него фреймами ЗАСАДА, ПОПЫТКА ВЗЛОМА, *БОРЬБА, *ПОБЕДА.

8. Ленерт В., Дайер М.Г., Джонсон П.Н. BORIS – экспериментальная система глубинного понимания повествовательных текстов // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1989. – Вып. 24. – С. 106-160.
9. Лотман Ю.М. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь. – М., 1988. – 351 с.
10. Лотман Ю.М. Об искусстве. – СПб., 1998. – 690 с.
11. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. – М., 1970. – 384 с.
12. Маркулан Я. Зарубежный кинодетектив. – Л., 1975. – 167 с.
13. Мелетинский Е.М. О литературных архетипах. – М., 1994. – 134 с.
14. Мелетинский Е.М. О происхождении литературно-мифологических сюжетных архетипов // Мировое древо. – М., 1993. – N 2. – с. 9-62.
15. Мелетинский Е.М. Структурно-типологическое изучение сказки // Пропп В.Я. Морфология <волшебной>сказки. – М., 1998. – С. 437-466.
16. Олкер Х.Р. Волшебные сказки, трагедии и способы изложения мировой истории // Язык и моделирование социального взаимодействия. – М., 1987. – С. 408-440.
17. Поспелов Г.С. Искусственный интеллект – основа новой информационной технологии. – М., 1988. – 279 с.
18. Поспелов Д.А. Фантазия или наука? На пути к искусственному интеллекту. – М., 1982. – 220 с.
19. Пропп В.Я. Морфология “волшебной сказки”. – М., 1998. – 512 с.
20. Пропп В.Я. Фольклор и действительность. – М., 1976. – 325 с.
21. Родари Дж. Грамматика фантазии: Введение в искусство придумывания историй. – М., 1978. – 213 с.
22. Смиренский В.Б. Фреймовый способ представления сюжетных стереотипов // Труды Международного семинара Диалог'97 по компьютерной лингвистике и ее приложениям. – М., 1997. – С. 244-247.
23. Хинтиikka Я., Хинтиikka М. Шерлок Холмс против современной логики: К теории поиска информации с помощью вопросов // Язык и моделирование социального взаимодействия, – М., 1987. – С. 265-281.
24. Шенк Р. Обработка концептуальной информации. – М., 1980. – 361 с.
25. Шенк Р., Бирнбаум Л., Мей Дж. К интеграции семантики и прагматики // Новое в зарубежной лингвистике. – М., 1989. – Вып. 24. – С. 32-47.
26. Щеглов Ю.К. К описанию структуры детективной новеллы // Жолковский А.К., Щеглов Ю.К. Работы по поэтике выразительности. – М., 1996. – С. 95-116.
27. Эйзенштейн С.М. О фольклоре // Эйзенштейн С.М. Мемуары. – М., 1997. – Т. 1. – 430 с.
28. Яскевич Т.В. Репрезентация фрейма “выбор” в современном английском языке: Автореф. дисс. канд. филол. наук. Иркутск, 1998. – 16 с.
29. Bremond C. The morphology of the French fairy tale: The ethical model // Patterns in oral literature. – The Hague; Paris, 1977. – P. 49-78.
30. Cave T. Recognitions: A study in poetics. – Oxford, 1988. – XIII, 530 p.
31. Dijk T.A. van, Kintsch W. Strategies of discourse comprehension. – N.Y., 1983. – XI, 418 p.
32. Dundes A. The morphology of North American Indian tales – Helsinki, 1964. – 134 p.
33. Jason H., Segal D. Introduction // Patterns in oral literature – The Hague; Paris, 1977. – P. 1-10.
34. Oddy R.N., Liddy E., Bishop A. Towards the use of situational information in information retrieval // J. of documentation. – L., 1992. – Vol. 42. – N. 2. – P. 123-171.
35. Ricoeur P. Temps et recit. – P., 1983. – Т.1. – 322 p.
36. Ryan M.-L. Possible worlds, artificial intelligence and narrative theory. – Bloomington (Indianapolis) 1991.- 291 p.
37. Segmenty a kontext / Findra J., Krausova N., Miko F. et al. – Bratislava. 1973. – 166 s.

В.Б.Смиренский

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОБРАЗ РУССКОЙ РЕЧИ (На материале романа И.А.Гончарова “Обломов”)

В современных лингвистических исследованиях проблем изучения дискурса в различных его проявлениях прочно заняла одно из центральных мест. Повышенный интерес к проблемам дискурса, вероятно, объясняется тем, что в центре внимания оказалась языковая личность, а не безликий, лишенный любых личностных качеств, субъект. Во многом здесь ощущается заслуга психолингвистики. Однако обращение к данной проблематике обусловлено еще и тем, что, несмотря на большое количество исследований в этом направлении, пока еще слабо удается формализовать (и смоделировать) релевантные переменные, характеризующие сущность человеческой коммуникации.

А.А. Леонтьев рассматривает процесс коммуникации с позиции деятельностной модели, понимает общение как речевую деятельность (16). Относительно более целостно общение рассмотрено в исследованиях Б.Ф.Ломова, которому удалось установить функции общения и уровни его анализа, соотношение психических процессов и процессов общения (17). Проблема моделирования общения волновала чешских ученых, понимающих коммуникацию как разновидность социального общения и различающих замысел коммуникатора, смысл общения для коммуникатора, предметное содержание сообщения, смысл сообщения для реципиента, эффект воздействия на реципиента. Исследования в данном направлении продолжают и сейчас. К.В.Томашевская исследует современный экономический дискурс в его личностном приложении (24), С.А.Сухих и В.В.Зеленская предприняли попытку построить модель коммуникации, в которой бы сочетались коммуни-катороцентрический и текстоцентрический подходы (23). Уже предварительный обзор работ в данном направлении указывает на тот факт, что только междисциплинарный подход может быть плодотворен при описании дискурса.

Под “дискурсом” мы будем понимать такую речеповеденческую функцию языка, которая обладает характеристиками отнесенности к действительности (в самом широком смысле слова) и определенной коммуникативной установкой. Из такого определения дискурса видно, что текст всегда прагматичен, т.е. содержит в себе интенциональный элемент.

Языковой дискурс является знаковым способом существования сознания как для себя (концептуализация мира), так и для других (интерактивный модус существования общества). По сути языковой дискурс выступает знаковой моделью сознания. В межличностном общении конкретизируются различные общественные отношения: эмоционально-личностные, нормативно-ролевые, предметно-деятельностные. В.Н.Волошинов писал, что “именно ближайшая социальная ситуация и более широкая социальная среда всецело определяют и притом, так сказать, изнутри – структуру высказывания” (7, с. 88). Это проявляется в степени допустимости типов речевых действий, а также тем общения.

В настоящее время предпринимаются попытки описать современный дискурс в его различных инвариантах: изучаются структура этого феномена, типология языковой личности, способы языкового воплощения, методы и принципы его моделирования.

В нашем исследовании мы обратимся к роману И.А.Гончарова “Обломов” и проанализируем, каким видится Гончарову разговор по-русски. Перед нами стоит задача выявить особенности русского национального дискурса второй половины XIX в. на материале текста романа “Обломов”.

Роман “Обломов” выбран нами не случайно. Вторая половина XIX в. в России, как и во всей Западной Европе, характеризуется повышенным вниманием к самоидентификации (25; 29; 30), чему способствует появившееся художественное направление, названное “реализмом”. Исследователь литературы А.В.Михайлов видит принципиальное значение реалистического

метода в литературе в том, что “риторическое слово” сменяется “нериторическим” (более подробно см. 19).

Для И.А.Гончарова как художника современная ему действительность служила материалом, из которого явился образ современного ему русского общества, находящегося в процессе становления: “Вижу не три романа, а один. Все они связаны одною общемою нитью, одною последовательною идеею – перехода от одной эпохи русской жизни... к другой – и отражением их явлений в моих изображениях, портретах, сценах, мелких явлениях и т.д.” (11, с. 107). Гончаров стремился к “типичности” изображения, поскольку “если образы типичны, они непременно отражают на себе... и эпоху, в которой живут, оттого они и типичны” (11 с. 107), а типичность изображения достигается благодаря объективности повествования. Говоря о различиях между ученым и художником, И.А.Гончаров, указывает на разное их обращение с “материалом”: “Ученый ничего не создает, открывает готовую и скрытую в природе правду, а художник создает подобие правды, то есть наблюдаемая им правда отражается в его фантазии и он переносит эти отражения в свое произведение” (11, с. 140). Это Гончаров называет художественной правдой, шире – художественным реализмом. Художественная правда и правда действительности, следовательно, не смешиваются у Гончарова. Явление, перенесенное целиком из жизни, в произведении искусства теряет истинность действительности и никогда не станет художественной действительностью. Одновременно отражая действительность в художественном произведении, художник конструирует действительность. Под влиянием искусства действительность может видоизменяться.

Обращаясь к русской действительности, Гончаров описывает ее со всех сторон. Неудивительно, что Гончаров писал свои произведения долго, обрабатывая каждый образ, тип: “Не умею ничего писать иначе, как образами, картинками, и притом большими, следовательно, писать долго, медленно и трудно” (11, с. 147), – признается сам Гончаров.

Обращение к национальному материалу имеет для Гончарова, как было уже отмечено, принципиальное значение. Во многом это определяется его жизненной позицией, а также и позицией писателя. “Пишу для русских”, – неоднократно встречающийся в переписке с современниками мотив Гончарова.

Национальная доминанта для Гончарова представляет исключительную важность. Выписывая характер Обломова, как Гончаров признавал сам, он чувствовал, “что в эту фигуру вбираются мало-помалу элементарные свойства русского человека” (11, с. 106). Описать специфику речи персонажей, используя четко выраженные формальные признаки, затруднительно и, вероятно, невозможно, вместе с тем ясно ощущается, что “обломовская” речь (т.е. речь коренных обломовцев, самого Обломова, приятелей, навещающих его в Петербурге, на Гороховой улице) имеет настолько ярко выраженный стиль, что, как замечают Вайль и Генис (3), речь Штольца на их фоне звучит явно чуждо, чужеродно.

И.А.Гончаров в своей статье “Лучше поздно, чем никогда” (1879), призванной объяснить авторское понимание своего творчества, говорит, что в его произведениях отразились “как в зеркале, и явления общественной жизни, и нравы, и быт” (11, с. 107). Художник подчеркивает бессознательный процесс творчества: “Я сам и среда, в которой я родился, воспитывался, жил – все это, помимо моего сознания, само собою отразилось силой рефлексии у меня в воображении, как отражается в зеркале пейзаж из окна, как отражается иногда в небольшом труде громадная обстановка: и опрокинутая над прудом небо, с узором облаков, и деревья, и гора с какими-нибудь зданиями, и люди, и животные, и суета, и неподвижность – все в миниатюрных подобиях” (11, с. 107).

Одним из наиболее важных и интересных средств создания иллюзии жизнеподобия и одновременно художественной типизации является речь персонажей. В письме к П.А.Валуеву от 6 июня 1877 г. И.А.Гончаров писал, что читатель (особенно в разговорах) ждет и жаждет “тех нечаянностей, игры, капризов, смелых и сильных оборотов, огня, того нервного трепетанья, каким кипит живая речь живого человека” (11, с. 440).

Гончаров с удивительной легкостью воспроизводит в романе русский разговорный язык, оформляя соответствующие высказывания стилистически, затрагивая особые темы, принятые в узком кругу; лексические уровни языка (просторечие, обращение к русскому культурному тезариусу) были для Гончарова далеко не единственным инструментом в создании иллюзии разговорной речи. Важную роль играли тематический репертуар (в целом для “обломовцев”, как и посетителей Обломова на Гороховой улице, нет запретных тем – все всё о друг друге знают), синтаксис, общий контекст. Речь “обломовцев”, подчиненная разговорному синтаксису, с его эллипсисами, соединительными союзами, переборами и короткими предложениями, создает

иллюзию “живой” речи. При передаче разговора на письме отсутствует экспрессия интонаций голоса и физических жестов, Гончаров же стремился преодолеть все эти препятствия, придавая прямой речи персонажей большую выразительность.

Достаточно сравнить собственно авторскую речь и речь персонажей. Рассчитанная на идеального читателя (читателя, максимально близкого Гончарову по восприятию, культурному багажу), стилистическая игра в собственно авторской речи вызвала к жизни сложный, неразговорный синтаксис (обратимся за примером к началу IX главы романа, где описывается Обломовка). Многочисленные аллюзии на романтическое восприятие, античные идеалы, прозападническое восприятие, стилистические диссонансы призваны придать повествованию иронически-насмешливый тон, установив таким образом особые доверительные отношения между писателем и читателем, те самые отношения, которые высоко ценились в Обломовке. Автор как бы тестирует читателя, выявляя его читательский потенциал, готовит ко второй части главы, настраивает на особую атмосферу Обломовки.

Ярким примером нефункционального общения в Обломовке является разговор старого Обломова с дворовыми. Он вполне лишен всякого смысла и лишь призван символизировать сопричастность, сопереживание хозяйственным заботам: “Эй, Игнашка? Чего несёшь, дурак? – спросит он идущего по двору человека. – Несу ножи точить в людскую, – отвечает тот, не взглянув на барина. – Ну неси, неси; да хорошенько, смотри, наточи!” (10, с. 113). Любопытно, что и сами обломовцы рассматривают такое общение лишь как символическое свидетельство взаимопроникновенности в мир другого. Общение в кругу своих настолько самодостаточно, что обломовцы не испытывают тяги к новому, неизвестному. Для них усадьба – символ мироздания (похожим образом ведет себя и Обломов: Гороховая улица ассоциируется у него с Обломовкой: выходить из дома он не желает). Дома Обломов защищен от чужих, “других”. Он как бы вновь пребывает в своей Обломовке. Покинуть дом равносильно для него уехать из родной Обломовки. (Вспомним, какие неприятные ощущения вызывает у Обломова лишь одно сообщение Захара о необходимости съехать с квартиры.) Обломовцы ощущают зыбкость своего миропорядка, опасность его нарушения; чужой мужик в овраге представляется им оборотнем, для сохранения спокойствия в усадьбе его необходимо прогнать. Внутренняя географическая замкнутость усадьбы – символическое ограждение себя от других.

Своеобразным ключом ко всему роману “Обломов” является глава IX “Сон Обломова”, где описывается неторопливая, размеренная жизнь в усадьбе Обломовка. Принципиальное значение для всего романа имеет специфический тип общения, т.е. тот статус, который общение приобрело в Обломовке. Общение в Обломовке – это принципиально общение “своих” (отметим вновь, что, обосновавшись на Гороховой улице, Обломов создает вокруг себя мини-Обломовку, т.е. опять общение протекает по тому же самому принципу, что и в усадьбе). Общение “своих” предполагает, что общающиеся между собой хорошо знают друг друга, имеют общие интересы, привычки, общих знакомых, в какой-то степени их уклад жизни настолько предопределен, что является предсказуемым. Земная жизнь обломовцев подчинена, с одной стороны, природному годовому циклу: весна, лето, осень, зима (проецируется этот принятый раз и навсегда уклад жизни и на любовные отношения Обломова и Ольги: их первая встреча происходит весной, а завершаются их отношения в начале зимы), а с другой стороны, трем жизненно-необходимым актам: родинам, свадьбам, похоронам. Это безмятежное существование, ничем не нарушаемое, совершающееся по однажды заведенному порядку. Доля общего занимает исключительно важное и ценное место в индивидуальном жизненном опыте каждого обломовца. Разделения на коллективное и индивидуальное просто нет: “Все видятся ежедневно друг с другом; умственные сокровища взаимно исчерпаны и известны” (10, с. 132). Общение как функция обмена в их повседневной жизни просто не существует – собеседникам нечем обмениваться, все уже сказано, а если не сказано, то прочувствовано. Коллективная жизнь настолько завладела индивидуальной, что жизнь в Обломовке определяется как совместное времяпрепровождение, и в этом состоит ее особая ценность: наслаждение совместностью, взаимопричастностью.

В качестве примера наслаждения взаимопричастностью можно привести сцену гомерического хохота, который овладевает всеми уголками усадьбы. Описывается довольно трагическая сцена катания на салазках Луки Савича, но сам рассказ сопровождается буквально взрывами смеха:

“... В третьем году она и с гор выдумала кататься, вот так ещё Лука Савич бровь расшиб... Все вдруг встрепенулись, посмотрели на Луку Савича и разразились хохотом.

Как это ты, Лука Савич? Ну-ка, ну расскажи! – говорит Илья Иванович и помирает со смеху...

– Ну, чего рассказывать! – говорит смущенный Лука Савич. – Это все вон Алексей Наумович выдумал: ничего и не было совсем.

– Э! – хором подхватили все. – Да как же ничего не было? Мы-то умерли разве?.. А лоб-то, лоб-то, вон и до сих пор рубец виден...

И захохотали.

– Да что вы смеётесь, – старается выговорить в промежутках смеха Лука Савич. – Я бы и не того... да все Васька, разбойник... салазки старые подсунул ... они и разъехалась подо мной... я и того...

Общий хохот покрыл его голос...” (10, с. 133).

Общение по-обломовски следует рассматривать с функциональной точки зрения. Диалоги не являются в прямом значении диалогами, скорее это обмен репликами, где каждая реплика может быть понята лишь как своеобразное приглашение к общению. Важной составляющей разговора по-обломовски является, на первый взгляд, бессмысленное перечисление всех знакомых, т.е. всех тех людей, которыми ограничен круг общения. Эти Наталья Фадеевна, Маланья Петровна, Лука Савич, Алексей Наумович, Анна Андреевна, Марья Онисимовна, Пелагея Игнатьевна, Василий Фомич... упоминаются лишь единожды в романе. Перебор знакомых, на самом деле, явление весьма значимое для жителей Обломовки: “Сначала... переберут весь околоток, кто как живет, кто что делает... проникнут не только в семейный быт, закулисную жизнь, но в сокровенные замыслы и намерения каждого, влезут в душу” (10, с. 138). Такое поведение жителей Обломовки нельзя назвать бесцеремонным. Это нечто само собой разумеющееся, повторяющееся изо дня в день, приобрело статус обыденности, даже стало неотъемлемой частью ежедневного общения в Обломовке. Все настолько хорошо знают друг друга, что Я и Другой и внутреннее и внешнее неразличимы. Каждый житель Обломовки обладает статусом “своего”, что объясняет и оправдывает бесцеремонность в отношении внедрения в “чужие” семейные дела. Наоборот, отторжение, то, что Обломов сам называет “извержением из круга человечества” (10, с. 27), воспринимается обломовцами как акт высшей негуманности.

Илью Ильича возмущает беспристрастное отношение Пенкина к персонажам литературного произведения, отсутствие к ним сочувствия.

– Что же, природу прикажете изображать: розы, соловья или морозное утро, между тем как все кипит, движется вокруг? Нам нужна одна голая физиология общества; не до песен нам теперь...

– Человека, человека давайте мне! – говорил Обломов, – любите его...

– Любить ростовщика, ханжу, ворующего или тупоумного чиновника – слышите? Что вы это? И видно, что вы не занимаетесь литературой! – горячился Пенкин. – Нет, их надо карать, извергнуть из гражданской среды, из общества...

– Извергнуть из гражданской среды! – вдруг заговорил вдохновенно Обломов, встав перед Пенкиным. – Это значит забыть, что в этом негодном сосуде присутствовало высшее начало; что он испорченный человек, но все человек же, то есть вы сами. Извергнуть! А как вы извергнете его из круга человечества, из лона природы, из милосердия божия? – почти крикнул он с пылающими глазами” (10, с. 30).

“Извержение из круга человечества” приносит жителям Обломовки и самому Обломову большие неприятности. Будучи вычеркнутым из круга “своих”, человек ощущает свою непричастность, несоответствие своих качеств для того, чтобы быть принятым в привычный круговорот жизни.

В этом контексте становится совершенно очевидным, почему Обломова приводят в негодование слова Захара: “Я думал, что другие, мол, не хуже нас, да переезжают, так и нам можно...” (10, с. 90). Для Обломова “другой” синоним слова “чужой”, т.е. не принадлежащий миру своих. Быть или стать “другим”, т.е. изменить своему кругу, своим привычкам, значит перестать быть тем, кто ты есть. Став “другим”, человек обрекает себя на “извержение” из общества. Обломова страшит даже сама мысль, что такое может произойти. “Другой” не может рассчитывать на безмерное доверие к себе, на снисхождение, на понимание. “Он [Обломов] в низведении себя Захаром до степени других видел нарушение прав своих на исключительное предпочтение Захаром особы барина всем и каждому” (10, с. 90). Ценность человека в кругу обломовцев измеряется тем, принадлежит ли он этому кругу или нет.

Любопытно проанализировать сцену на заднем дворе: Захар, обиженный на барина за то, что последнему удалось его (Захара!) довести до слез своими “жалкими словами”, “мстит” Обломову -жалуется на его поведение: “Так неугодлив, что беда! И то не так, и это не так, и

ходить не умеешь, и подать-то не смыслишь, и ломаешь-то все, и съедаешь. Сегодня напустился – срам слушать! А за что? Кусочек сыру еще от той недели остался – собаке стыдно бросить – так нет, человек и не думай съесть!.. “Тебя, говорит, повесить надо, тебя, говорит, сварить в горячей смоле надо да щипцами калеными рвать; кол осиновый, говорит, в тебя вколоть надо!!!” (10, с. 147-148).

Вымещая свою обиду на барина, Захар, однако, не забывает, что они с Обломовым принадлежат к одному кругу.

Любые попытки “обидеть” своего барина другими он сразу же пресекает: “Задевши его барина, задели за живое и Захара. Расшевелили и честолюбие, и самолюбие: преданность проснулась и выказалась со всей силой. Он готов был облить ядом желчи не только противника своего, но и его барина, и родню барина, который даже не знал, есть ли она, и знакомых. Тут он с удивительной точностью повторил все клеветы и злословья о господах, почерпнутые им из прежних бесед с кучером” (10, с. 151).

В Петербурге Обломов создает вокруг себя микроклимат “своих”, как и в Обломовке, между “своими” нет запретных тем, все друг друга хорошо знают, знакомые у всех общие, важную роль в общении на Гороховой по-прежнему занимает перечисление принадлежащих к “своему” кругу. По модели общения, принятого в Обломовке, строит свои отношения со слугами на заднем дворе и Захар.

Общение “по-обломовски” входит в привычку, становится неотъемлемой частью жизни Захара.

Захар, дворник, кучер, Татьяна Ивановна, лакей – еще один пример общения “своих”. И в этом круге “своих” копируется модель общения “по-обломовски”: перечисляются другие, так или иначе принадлежащие их кругу, их привычки и поведение; обсуждаются личная жизнь господ, их распорядок дня, их пристрастия, их недостатки.

Ритуал перечисления потенциально своих в точности копируется в квартире на Гороховой улице: “Ну, а что Кузнецов, Васильев, Махов ...” (10, с. 26).

Многие диалоги, которыми обмениваются “обломовцы”, тавтологичны по содержанию: “... Илья Иванович пойдет к окну, взглянет туда и скажет с некоторым удивлением: “Еще пять часов только, а уж как темно на дворе!”

– Да, – ответит кто-нибудь, – об эту пору всегда темно; длинные вечера наступают” (10, с. 131).

Тавтологичны по своему содержанию и диалоги на Гороховой улице. О некоем Олешкине (упоминаемом в романе лишь единожды в этом тавтологичном диалоге) Обломов и Судьбинский обмениваются репликами, тавтологичными по содержанию, на целых 10 строк:

– Он добрый малый! – сказал Обломов.

– Добрый, добрый...

– Очень добрый, характер мягкий, ровный, Оговорил Обломов.

– Такой обязательный, – прибавил Судьбинский, – и нет этого, знаешь, чтоб выслужиться, подгадить, подставить ногу, опередить... все делают, что может.

– Прекрасный человек! Бывало, напутаешь в бумаге, недоглядишь, не то мнение или законы подведешь в записке, ничего: велит только другому переделать. Отменный человек! – заключил Обломов” (10, с. 26).

Обмен репликами в Обломовке всегда предполагает, что собеседник согласится со сказанным или продолжит мысль. Коллективное мышление обломовцев способствует внутреннему общению, которое символизирует молчание: “Между собеседниками по большей части царствует глубокое молчание...” (10, с. 130), “И опять замолчат” (10, с. 131), “Долго опять молчат; скрипят только продеваемые взад и вперед нитки” (10, с. 132) “...и все погрузилось в, молчание” (10, с. 134). “Глубокое молчание” (10, с. 134) – вполне адекватная замена беседы по-обломовски, обозначающая внешнюю наполненность содержательности общения: все растворяется во всех, один качественно равен другому, другой может вполне продолжить чужую мысль и наоборот – “поменяться с ним идеей нечего и думать” (10, с. 178). Общение возможно и посредством молчания. Характерно молчаливое общение Обломова и Захара:

“Обломов с упреком поглядел на него, покачал головой и вздохнул, а Захар равнодушно поглядел в окно и тоже вздохнул. Барин, кажется, думал: “Ну, брат, ты еще больше Обломов, нежели я сам”, а Захар чуть ли не подумал: “Врёшь! Ты только мастер говорить мудреные да жалкие слова, а до пыли и до паутины тебе и дела нет” (10, с. 15).

Идеальным собеседником для Обломова выступает Алексеев, готовый бесконечно долго слушать Обломова и при этом соглашаться, сопереживать, сочувствовать. Идеальный

собеседник должен быть неотличим от собственного Я. Максимум участия здесь сочетается с максимумом безразличия. Противоречия в адрес говорящего не принимаются, цель беседы – диалога – сочувствие, взаимопричастность, проникновенность.

Что по-настоящему осуждают обломовцы в поведении Штольца-отца, так это его отсутствие сопричастности.

Обратимся к эпизоду, когда юный Андрей Штолец уезжает из Обломовки:

– Ну! – сказал отец.

– Ну! – сказал сын.

– Все? – спросил отец.

– Все! – отвечал сын.

Они посмотрели друг на друга молча, как будто пронзали взглядом один другого насквозь...

Отец и сын пожали друг другу руки. Андрей поехал крупным шагом.

– Каков щенок: ни слезинки! – говорили соседи. – Вон две вороны так и надседаются, каркают на заборе: накаркают они ему – погоди уж!...

– Да что ему вороны? Он на Ивана Купала по ночам в лесу один шатается: к ним, братцы, это не пристаёт. Русскому бы не сошло с рук!...

– А старший-то нехристь хорош! – заметила одна мать. – Точно котенка выбросил на улицу: не обнял, не взвыл!” (10, с. 163).

Сдержанность в отношениях отца и сына вызывает упрек среди соседей в недостаточно близких отношениях. Здесь же этому находится оправдание: “Русскому бы не сошло с рук!” Отец и сын представлены здесь как чужие.

Совершенно по-иному рисуется прощание по-русски. На этот раз мы обратимся к эпизоду прощания Сашеньки Адуева с матушкой из повести “Обыкновенная история”: расставание с сыном представляется Анне Петровне “горем”, соотносимым разве что только с похоронами:

– Жаль бедной Федосьи Петровны: осталась с деточками на руках. Шутка ли: пятеро. И все почти девочки! А когда похороны?

– Завтра.

– Видно, у всякого свое горе, Антон Иванович; вот я так сына провожаю.

– Что делать, Анна Петровна, все мы человеки! “Терпи”, – сказано в священном писании” (9, с. 48).

Описание самого прощания Анны Петровны с сыном аналогично прощанию Андрея Штольца с отцом, но качественно отлично:

“У рощи остановились. Пока Анна Павловна рыдала и прощалась с сыном, Антон Иванович потрепал одну лошадь по шее, потом взял ее за ноздри и потряс в обе стороны...

– Ну, пора, бог с вами! – говорил Антон Иванович, – полно, Анна Павловна, вам мучить-то себя! А вы садитесь, Александр Федорович; вам надо засветло добраться до Шишкова. Прощайте, прощайте, дай бог вам счастья, чинов, крестов, всего доброго и хорошего, всякого добра и имущества!!! Ну, с богом, трогай лошадей, да смотри там косогором-то легче поезжай! – прибавил он, обращаясь к ямщику.

Александр сел, весь расплаканный, в повозку, а Евсей подошел к барыне, поклонился ей в ноги и поцеловал у нее руку” (9, с. 53).

Акт расставания для Анны Павловны и Александра знаменует добровольное “низвержение” из привычного окружения. Как для Обломова, остальной мир в их миропонимании представлен “другими” – людьми с иными привычками и иным укладом жизни. В привычном круге своих, в понимании Анны Павловны, Александр будет чужим. Можно с уверенностью предположить, что жизнь в усадьбе “Трачи” была подчинена все тому же незыблемому порядку: один день мирно “переползал” в другой, родины сменялись свадьбами и похоронами, письмо, присланное из города, вселяло непродуманный страх. В контексте такого мировосприятия отъезд сына из дома закономерно воспринимался равносильным похоронам.

Разговор обломовцев неизменно сопровождается бесконечным взаимопониманием, взаимопроникновенностью. Рассказывающий свято верит в то, что рассказывает, и ожидает такой же реакции от слушающих. Показателен в этом отношении эпизод рассказывания няней сказки маленькому Илюше.

“Рассказ лился за рассказом. Няня повествовала с пылом, живостью, с увлечением, местами вдохновенно, потому что сама вполнину верила рассказам. Глаза старухи искрились огнем; голова дрожала от волнения; голос возвышался до непривычных нот.

Ребенок, объятый неведомым ужасом, жался к ней со слезами на глазах” (10, с. 121).

Внутренние переживания рассказчицы передаются ребенку, однако “Сказка (сказ, предание, рассказ, повествование в данном контексте выступают как синонимы. – М.Р.) не над одними детьми в Обломовке, но и над взрослыми и до конца жизни сохраняет свою власть” (10, с. 122). “В Обломовке верили всему: и оборотням, и мертвецам” (10, с. 122). Бесконечное доверие, сопровождаемое безграничным растворением всех во всех, создает особый климат в Обломовке.

Но ценность еще более высокую, чем молчаливое понимание, всеобщая проникновенность, молчаливое участие, граничащее с безразличием, в Обломовке приобретает единение в выполнении различных ритуальных действий: будь то “дружный, несказанный гомерический смех”: “Все хохочут долго, дружно, несказанно, как олимпийские боги” (10, с. 133), – или опять такие же безграничные, ничем не мотивированные слезы:

“Сидят подолгу, глядят друг на друга, по временам тяжело о чем-то вздыхают. Иногда которая-нибудь и заплачет:

– Что ты, мать моя? – спросит в тревоге другая.

– Ох, грустно, голубушка! – отвечает с тяжелым вздохом гостя. Прогневали мы господу бога, окаянные. Не бывать добру.

– Ах, не пугай, не страшай, родная! – прерывает хозяйка.

– Да, да, – продолжает та. – Пришли последние дни: восстанет язык на язык, царство на царство... наступит светопреставление! – выговаривает наконец Наталья Фадеевна, и обе плачут горько” (10, с. 138).

Ничем не вызванная тревога, описанная иронически, ценится сама по себе как категория, объединяющая “своих”, – опять характерная деталь в общении обломовцев и принадлежащих к их кругу.

Одинаково реагируют обломовцы на попытку нарушить веками сложившийся порядок, например пришедшее из города письмо. Событие описано как совершенно невыносимое и вызвавшее огромное удивление у присутствующих и даже испуг:

“Все обомлели; хозяйка даже изменилась немного в лице; глаза у всех устремились и носы вытянулись по направлению к письму” (10, с. 137).

Письмо к барину касается опять всех. “Наконец не вытерпели, и на четвертый день, собравшись толпой с смущением распечатали” (10, с. 138).

Слезы – пик радости или горя, но в любом случае это символ единения, высшей степени слиянности всех со всеми. Поэтому желанное, ожидаемое общение с гостьей Настасьей Фадеевной видится так: “То-то бы радости! То-то бы обнялись да наплакались с ней вдвоем! И к заутрене, и к обедне бы вместе...” (10, с. 131).

Слезы символизируют бесконечное участие, безграничное понимание, внутреннее сопереживание. Слезами сопровождаются особенно напряженные сцены романа: слезами провожает крестьянка уезжающего Андрея Штольца (“Но вдруг в толпе раздался громкий плач: какая-то женщина не выдержала.

– Батюшка ты, светик! – приговаривала она, утирая концом головного платка глаза. – Сиротка бедный! (10, с. 163)); критический момент объяснения Обломова и Захара: “Захар продолжал всхлипать, и Илья Ильич был сам растроган. Увещевая Захара, он глубоко проникся в эту минуту сознанием благодеяний, оказанным им крестьянам, и последние упреки досказал дрожащим голосом, со слезами на глазах” (10, с. 96). Сравним Обломова в данном эпизоде с няней: рассказ действует на рассказчика не менее сильно, чем на слушателей; рассказчик проникается рассказом не меньше, а может быть, и больше, чем слушающий); момент встречи Обломова с Ольгой – Ольга исполняет *Casta Diva*, и Обломову, предвкушающему их роман, едва удастся скрыть слезы (“Обломов вспыхивал, изнемогал, с трудом сдерживал слезы, еще труднее было душить ему радостный, готовый вырваться из души крик (10, с. 200). Практически весь роман Обломова и Ольги сопровождается слезами: “У неё слезы полились сильнее. Она уже не могла удержать их и прижала платок к лицу, разразилась рыданием...” (10, с. 259)

Последняя встреча Обломова и Ольги также сопровождается слезами: “Он молчал и в ужасе слушал ее слезы, не смея мешать им. Он не чувствовал жалости ни к ней, ни к себе; он был сам жалок. Она опустила в кресло и, прижав голову к платку, оперлась на стол и плакала горько” (10, с. 374), “Она опять закрыла лицо платком и старалась заглушить рыдания” (10, с. 376). “[– Обломовщина! – прошептал] он, потом взял ее руку, хотел поцеловать, но не мог, только прижал крепко к губам, и горячие слезы закапали ей на пальцы” (10, с. 376); последняя

встреча Андрея Штольца с Обломовым также сопровождается слезами: “Он (Обломов) протянул к Андрею обе руки, и они обнялись молча, крепко, как обнимаются перед боем, перед смертью. Это объятие задушило их слова, слезы, чувства...” (10, с. 490).

По моделям общения, принятого в кругу “обломовцев”, строится и взаимодействие между автором и читателем самого романа “Обломов”. Принятая в русском обществе модель общения воссоздается и моделируется как в самом романе, так и посредством его. Роль писателя в русском обществе всегда была авторитетной, а письменное слово ценилось особо высоко.

Автор стоит как бы над текстом, над читателем. Это всезнающий автор, которому удалось проникнуть в самые сокровенные уголки внутреннего мира своих персонажей. Он хорошо их знает, ему известны многие страницы их биографий, ему известны их желания и надежды, страхи – автор романа выступает в качестве доверенного лица своих персонажей, с одной стороны, и требует к себе такого же отношения читателя, – с другой стороны.

Вступая в контакт с книгой, читатель “отдает” себя ее автору. Для того чтобы контакт с романом состоялся и произошло адекватное общение, писатель должен как бы раствориться в произведении, стать своим для персонажей, постараться их понять. В процессе постижения романа читатель должен постараться максимально приблизиться к культуре описываемого народа, а по мысли И.А.Гончарова, полноценное понимание произведения возможно лишь в случае принадлежности к тому культурному сообществу, которое описывается на страницах романов. Таков своеобразный патриотизм И.А.Гончарова: “Не только высокое, священное и т.д. чувство и долг, но он есть – и практический принцип, который должен быть присущ, как религия, как честность, как руководство гражданской деятельности, – каждому члену благоустроенного общества, народа, государства!” (11, с. 258).

Национальная доминанта, как было отмечено выше, обладает исключительной важностью для Гончарова. Наряду с Гоголем и Островским, И.А.Гончаров причислял себя к числу “тесно-национальных живописцев быта и нравов русских”, которые, по его твердому убеждению, “не могут быть переводимы на чужие языки без ущерба достоинству их сочинений. Ибо что вне этих картин и сцен быта скажет иностранцам нового и яркого самое создание их сочинений?” (11, с. 450). Наиболее непередаваемой, по мнению Гончарова, оказывается драматическая составляющая прозы. Он отмечает, что драматическое произведение в целом хуже поддается переводу, поскольку именно язык “есть самое живое и чуть ли не единственное выражение национальности” (11, с. 358); в драматическом произведении язык выступает как речь, т.е. “язык, выражающий все, что страна думает, чего желает, что она знает, что хочет и должна знать и т.д... язык, вслед за религией, за преданностью и доверием к высшей власти решительно занимает третье место, как знамя, около которого тесно толпятся все народные силы” (11, с. 414). Язык – это средство для конструирования особой модальности общения, это инструмент, отделяющий своих от чужих. Для Гончарова язык – основа произведения, по его мнению, перевод бесполезен, так как между автором и иноязычным читателем по определению понимание невозможно. Возможно, именно поэтому Гончаров с подозрением относится к переводам его произведений на другие языки. Он пишет: “Не люблю, чтобы меня переводили” (11, с. 411). На вопрос, почему И.А.Гончаров не хотел видеть свои произведения переведенными, ответить, вероятно, следует так: для писателя, ориентирующегося на свою национальную читательскую аудиторию (а то, что Гончаров писал исключительно для соотечественников, совершенно очевидно следует из его переписки), нет ничего страшнее быть неверно понятым. Так, Гончаров сомневается в способности одной национальной общности адекватно понять национальное своеобразие другой: “...все действующие лица в моих сочинениях, нравы, местность, колорит – слишком национальные, русские – и от того, казалось мне всегда, они будут мало понятны в чужих странах, мало знакомых... с русской жизнью!” (11, с. 460).

Читатель, не погруженный в коммуникативный контекст национального сообщества (а в первую очередь это касается иноязычного читателя), не может в полной степени оценить произведение, понять его замысел, получить эстетическое наслаждение, поскольку сцены быта (превалирующие в прозе Гончарова в целом), обрамленные коммуникативным контекстом, как правило, понятны русскоязычному читателю в их ценностной подоплеке взаимодействия, резко теряют в смысловом богатстве и выразительности. Иноязычный читатель находится в неравном положении с русскоязычным.

Гончаров замечал, что “исключительно тесно-национальные живописцы быта и нравов русских, почти неизвестных за границей, не могут быть переводимы на чужие языки, без явного ущерба достоинству их сочинений” (11, с. 464).

Взаимодействие, соучастие, сопричастность, безграничное доверие, совместность, сопереживание – характеристики общения не только между “обломовцами”, но и принципиально необходимы для общения посредством романа.

Как уже было отмечено выше, читатель, полностью доверяясь писателю, автору повествования, следует за ним по страницам романа, откликаясь на малейшие намеки повествователя. Для Гончарова ориентация на читателя имеет огромное значение. Идеальным читателем для него, как идеальным слушателем для Обломова, выступает некий Алексеев, безотказный слушатель, во всем доверяющий повествователю, следящий за сменой его настроения, живой, способный воспринимать тонкую иронию. Автор не просто источник информации, но и заинтересованный повествователь, создатель специфической, домашней, атмосферы общения с читателем. Идеальный читатель Гончарова очень похож на слушателя русской народной сказки (ср. ситуацию рассказывания няней сказки маленькому Илюше), он должен полностью погрузиться в рассказ, отрешиться от окружающей его действительности, забыть обо всем и максимально чутко отзываться на малейшие указания повествователя, такие как ироничность повествования, часто создаваемая несоответствием стилистических единиц, их несогласованностью (мужики и леди), введением описания через отрицание, несоответствием между ожидаемым и действительностью.

Повествователь в романе “Обломов” – не безликое лицо, а фигура значимая, несомненно близкая самому Гончарову. Ироничность повествования – неотъемлемая черта произведения, указание на особенное отношение повествователя к читателю. Подобно тому, как “обломовцы” перебирают круг своих знакомых, так и повествователь вводит в текст романа персонажей. Роман густо населен различными персонажами, упоминаемыми нередко лишь по именам. Персонаж может быть только упомянут, не иметь никакого отношения собственно к самому повествованию, но именно так повествователь вводит читателя в контекст описываемой ситуации.

Малозначительные моменты окружающей Обломова действительности придают отношениям повествователя и читателя особую атмосферу безграничного доверия. Для Гончарова принципиально важным является передать дух обстановки, поэтому важное место в контексте романа занимают описания. С первых страниц романа читатель погружается в быт Обломова. Подробно описываются комната Обломова, привычки самого хозяина, непрменный утренний ритуал, поведение слуги Захара. Описание быта совершенно необходимо для создания у читателя определенного “сонного” настроения. События описываются всесторонне: мы слышим сонный голос Обломова, недовольное бормотание Захара, их взаимообмен репликами. Описание в романе всегда предшествует коммуникативному контексту, выполняя роль установки, призванной создать у читателя определенный ракурс восприятия. В свою очередь коммуникативное взаимодействие призвано “оживить” сцены быта, драматизировать повествование. Отношение повествователя к персонажам передается и читателям. Ни один читатель не воспринимает Обломова как резко отрицательный персонаж (несмотря на то, что во многих критических работах фигура Обломова вызывает ряд негативных характеристик) в первую очередь потому, что отношение к нему повествователя можно охарактеризовать как снисходительное, иронизирующее. Это отношение повествователя к персонажу передается читателям. В противоположность Обломову, как резко отрицательный персонаж выступает Тарантьев, единственная, пожалуй, в контексте романа фигура, отношение к которой у повествователя, а вслед за ним и у читателя, крайне отрицательное.

Ведомый по страницам романа повествователем русскоязычный читатель, как правило, без труда распознает оставленные ему указания на то, как должен протекать процесс общения. В качестве иллюстрации этого тезиса обратимся к главе IX “Сон Обломова”. Вводная часть этой главы – описание “райского уголка” – создает особую атмосферу интимного диалога между автором и чувствующим читателем. Многочисленные аллюзии (указание на романтические символы через их отрицание, обращение к античным идеалам, и их крушение, отсылки к произведениям мировой культуры, опять же, через их отрицание) свидетельствуют о безграничном доверии повествователя к читателю. Ироничность повествования – свидетельство того, что автор воспринимает читателя как равного самому себе (ср. у “обломовцев” – “поменяться с ним идеей нечего и думать...” (10, с. 138).

Список литературы

1. Атаян Э.Р. Язык и внеязыковая деятельность. – Ереван, 1987. – 225 с.

2. Бахтин М.М. Проблема речевых жанров: (Эстетика словесного творчества) – М.: Наука, 1979. – 240 с.
3. Вайль П., Генис А. Родная речь. – М., 1995. – 190 с.
4. Ван Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация: Пер. с англ. / Сост. Петров В.В.; Под ред. Герасимова В.И. – М.: Прогресс, 1989. – 312 с.
5. Вежицкая А. Язык. Культура. Познание. – М.: Рус. словари, 1996. – 411 с.
6. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. – М., 1939. – 89 с.
7. Волошинов В.Н. Марксизм и философия языка. – Л., 1929. – 67 с.
8. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М., 1986. – 139 с.
9. Гончаров И.А. Собрание сочинений в 8 Т. – М., 1977. – Т. 1. – 334 с.
10. Гончаров И.А. Собрание сочинений в 8 Т. – М., 1979. – Т. 4. – 534 с.
11. Гончаров И.А. Собрание сочинений в 8 Т. – М., 1980. – Т. 8. – 556 с.
12. Гумбольдт В. Язык и философия культуры. – М., 1985. – 342с.
13. Дридзе Т.М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации. – М., 1984. – 306 с.
14. Жаналина М.К. Язык и речь оппозиции // Филол. науки. – М., 1996.- N 5. – 68-91 с.
15. Кожин А.Н. Функциональные типы русской речи. – М.: Высш. шк. 1982. – 328 с.
16. Леонтьев А.А. Национально-культурная специфика речевого поведения. – М.: Наука, 1977. – 352 с.
17. Ломов Б.Ф. Общение как проблема общей психолингвистики // Методологические проблемы социальной психологии. – М., 1975. – 236 с.
18. Метафора в языке и тексте. – М.: Наука, 1988. – 176 с.
19. Михайлов А.В. Языки культуры. – М., 1997. – 912 с.
20. Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира. – М., 1988. – 236 с.
21. Серль Дж. Природа интенциональных состояний // Философия, логика, язык. – М., 1987. – 230 с.
22. Солганик Г.Я. О языке газеты. – М., 1968. – 69 с.
23. Сухих С.А., Зеленская В.В. Прагмалингвистическое моделирование коммуникативного процесса. – Краснодар, 1998. – 159 с.
24. Томашевская К.В. Лексическое представление языковой личности в современном экономическом дискурсе. – СПб., 1998. – 134 с.
25. Хобсбаум Э. Нации и национализм. – СПб., 1998. – 306 с.
26. Язык и моделирование социального взаимодействия. – М.: Прогресс, 1987, – 250 с.
27. Язык и наука конца XX века / Под ред. Степанова Ю.С. – М., 1995. – 320 с.
28. Якобсон Р. Лингвистика и поэтика // Структурализм “за” и “против”: Пер. с англ. – М., 1975. – 697 с.
29. Anderson B. Imagined communities. – L., 1983. – 198 p.
30. Gellner E. Nations and nationalism. – Oxford, 1983. – 209 p.

М.Б.Раренко